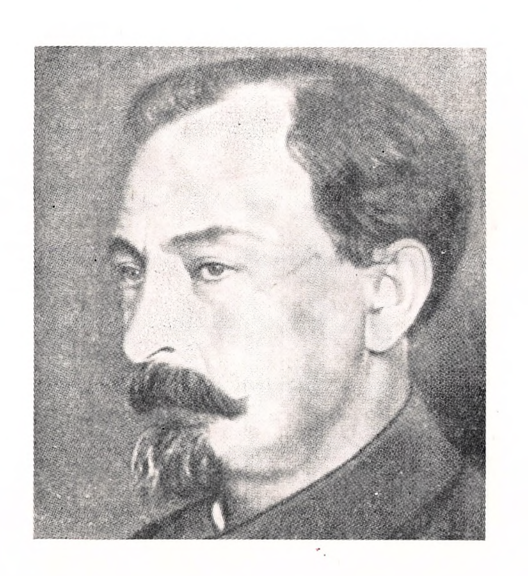
РОМАН ГУЛЬ

ДЗЕРЖИНСКИЙ





РОМАН ГУЛЬ

ДЗЕРЖИНСКИЙ

(НАЧАЛО ТЕРРОРА)

ИЗДАНИЕ 2-е, ИСПРАВЛЕННОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОСТ». НЬЮ-ЙОРК. 1974

ПРЕДИСЛОВИЕ К 2-МУ ИЗДАНИЮ

Книга «Дзержинский» была написана (закончена) мной в 1935 году в Париже. На русском языке она вышла в Париже в 1936 году в изд-ве «Дом книги», хотя издатель и счел для себя за благо не указывать на титульном листе свою марку. Остался только договор. Почему он это сделал? Да по очень — тогда — понятным причинам: не хотел себя «компрометировать» книгой о терроре «в прогрессивном государстве рабочих и крестьян». Ведь в те годы такие книги на Западе были не в фаворе. «Реакционны». Это сейчас А. И. Солженицын проломил «Архипелагом ГУЛАГ» международный книжный рынок. А тогда и отзывы о таких книгах были сдержанны и переводы их редки.

В 1938 году эта моя книга вышла по французски в издательстве — Les Éditions de France: "Les Maitres de la Tchéka. Histoire de la Terreur en URSS, 1917-1938". Ее переводчики, русский поэт Перикл Ставров и его друг француз Ланье в последний момент попросили моего согласия, чтоб их имена не были указаны на титульном листе, а были бы заменены — «перевод автора». Понимая их «дрожемент», я согласился, хотя это была неправда. В 1938 году я подписал договор на перевод книги на испанский с издательством Эрчилла в Сант-Яго де Чили. Но из-за военных событий все мои отношения с заграницей прервались, из писателя я превратился во французского сельско-хозяйственного батрака, и до сих пор не знаю, вышла ли в Чили эта моя книга. Так же оборвались мои отношения с итальянским изд-вом в Милане. Знаю, что перед войной моя книга печаталась в Болгарии в газете «Днесь».

О первом издании «Дзержинского» пространный и положительный отзыв дал С. Мельгунов в «Современных Записках», кн. 62: он этой темы не боялся, сам был автором книги «Красный террор». В первом русском издании книга состояла их трех очерков: вернее — террор был дан в трех биографиях: Дзержинский, Менжинский, Ягода. Очерк о Ягоде, написанный в 1935 г., я считал неудовлетворительным: тогда о Ягоде почти не было материалов. Но для французского издания (1938) я дополнил очерк о Ягоде, доведя его до конца этого палача, и дал еще очерк о Ежове.

Сейчас после выхода «Архипелага ГУЛАГ» А. И. Солженицына я считаю правильным дать только два очерка — о Дзержинском и Менжинском. То есть дать — о самом «начале террора», о времени, которое меньше всего освещено в литературе. Время же Ягоды и Ежова освещено многими. Не скрою, что натолкнула меня переиздать «Дзержинского» — ссылка на него А. И. Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ» (164 стр.). Вижу по тексту, что и еще в некоторых местах «Дзержинский» пригодился А. И. Солженицыну, как материал для его монументального «Архипелага». И это меня радует, стало-быть не зря написал почти 40 лет тому назад эту книгу. Пригодилась, когда попала в нужные и хорошие руки. Но каким путем эта книга 1936 года попала в руки Александра Исаевича — *в Советском Союзе?* Не пойму. Путями неисповедимыми.

Автор, 1974.

«Мы о весне давно мечтали
И вот когда сбылась мечта,
Мы насладимся ей едва-ли,
Поняв, узнав: она — не та».

Иван Каляев.

«У меня никогда не было иного критерия, кроме моего удовольствия. Писать историю такой, какой я люблю ее читать — вот вся моя писательская система. Лежит ли эта любовь к портретам в моем воображении, любящем все пластическое и всегда стремящемся живо представить себе образы людей при чтении исторического описания? Это возможно. Одно имя не говорит мне ровно ничего, для меня это отвлеченное понятие, составленное из нескольких слогов. Я питаю отвращение к отвлеченным историкам. Они возбуждают мое любопытство, но не удовлетворяют его».

А. Ламартин
(«История Жирондистов»).

ДЗЕРЖИНСКИЙ

1. *ЛЕНИН ИЩЕТ ФУКЬЕ-ТЕНВИЛЯ.*

19-го декабря 1917 года в Смольном в комнате № 75 короткими шажками бегал лысый человечек в потрепанном пиджаке. Это вождь октября, Ленин, волновался, слушая доклад управляющего делами совнаркома, прожженного циника Владимира Бонч-Бруевича. Управляющий докладывал о царящей панике среди головки партии, о поднимающемся недовольстве народа против большевиков, о возможности заговоров и покушений.

Ленин перебил Бонча вспыхнувшим недовольством.

«— Неужели ж у нас не найдется своего Фукье-Тенвиля, который привел бы в порядок контр-революцию?»

И на другой день образ Фукье-Тенвиля октябрьской революции не заставил себя ждать. Этот человек жил тут же, в снежном городе Петра, захваченном большевиками.

Высокий, похожий на скелет, одетый в солдатское платье, висевшее на нем как на вешалке, 20-го декабря в Смольном на расширенном заседании совнаркома появился Феликс Дзержинский. Под охраной матросских маузеров, в куреве, в плевках, в шуме, в неразберихе событий, среди «страшных» и «веселых чудовищ» большевизма, кого в минуту откровенности сам Ленин определял «у нас на 100 порядочных 90 мерзавцев», — после многих речей, «пламенея гневом», выступил и октябрьский Фукье-Тенвиль.

Феликс Дзержинский говорил о терроре, о путях спасения заговорщицкой революции. В его изможденном лице, лихорадочно-блестящих глазах, заостренных чертах чувствовался фанатик. Он говорил трудно, неправильным русским языком с сильным польским акцентом и неверными удареньями. Говорил волнуясь, торопясь, словно не сумеет, не успеет сказать всего, что надо.

«— Революции всегда сопровождаются смертями, это дело самое обыкновенное! И мы должны применить сейчас все меры террора, отдать ему все силы! Не думайте, что я ищу форм революционной юстиции, юстиция нам не к лицу! У нас не должно быть долгих разговоров! Сейчас борьба грудь с грудью, не на жизнь, а на смерть, — чья возьмет?! И я требую одного — *организации революционной расправы*!» — криком заканчивал свою речь изможденный, насквозь больной человек, похожий на переодетого в солдатское платье монаха.

Фукье-Тенвиль найден.

О произведенном октябрьском перевороте в припадке цинического юмора, в кругу друзей Ленин любил говаривать с усмешкой: «Ну-да, если это и авантюра, то в масштабе — всемирно-историческом». И 20-го декабря 1917 года Ленин, остановившись на Дзержинском, заложил краеугольный камень террора для защиты «авантюры во всемирно-историческом масштабе».

Протокол этого заседания хранится в Кремле, как реликвия, ибо «наспех записан самим товарищем Лениным»: — «Назвать комиссию по борьбе с контр-революцией — Всероссийской Чрезвычайной Комиссией при Совете Народных Комиссаров и утвердить ее в составе: — председатель т. Дзержинский...»

С этого дня Дзержинский занес над Россией «революционный меч». По невероятности числа погибших от коммунистического террора «октябрьский

Фукье-Тенвиль» превзошел и якобинцев, и испанскую инквизицию, и терроры всех реакций. Связав с именем Феликса Дзержинского страшное лихолетие своей истории, Россия надолго облилась кровью.

Кто ж этот человек, оттолкнувший террором не только Россию, но через нее, может быть, и весь мир к умонастроениям средневековья? Есть все основания заинтересоваться его душевным строем и его биографией.

По иронии русской истории и русской революции, человек, вставший во главе террора «рабоче-крестьянской» России, не был ни рабочим, ни крестьянином, ни русским. Он — родовитый дворянин, помещик, поляк. Его имя с проклятием произносит вся страна. Зато его товарищи по ордену «серпа и молота» давно канонизировали главу террора, как «коммунистического святого» и, вспоминая о нем, не щадят нежнейших названий, чтоб охарактеризовать его душу: «рыцарь любви», «голубиная кротость», «золотое сердце», «несказанно красивое духовное существо», «обаятельная человеческая личность». А поэт Маяковский (к сожалению, весьма часто падавший до казенных од) даже посвятил вдохновителю всероссийского убийства такие строки:

«Юноше, обдумывающему житье,
Решающему — сделать бы жизнь с кого?
Скажу, не задумываясь: «Делай ее
С товарища Дзержинского!»

2. ФЕНИКС СЕМЬИ.

О раннем предке знаменитого чекиста, ротмистре Николае Дзержинском, родословная древнего рода дворян Дзержинских говорит, что 11 апреля 1663 года ротмистр приобрел по купчей крепости от чашника Бурдо недвижимое имение «Спицы» в Крожском уезде Самогитского княжества.

Чем, помимо владения именьем, занимались более поздние предки Дзержинского, — неизвестно. Отец же, Эдмунд-Руфим Дзержинский, человек спокойный, сильный, с простоватым, широким, скорее русским чем польским лицом, окончил в 1863 году Санкт-Петербургский университет по физико-математическому факультету и, собирая доходы с родового именья, в то же время служил учителем математики и физики.

Феликс Дзержинский родился в 1877 году в родовом именьи «Дзержиново» Ошмянского уезда, Виленской губернии. Семья Дзержинских — большая: три сестры, четыре брата. Но богатства у Дзержинских не было, ибо знатные пращуры просорили все, и к рождению Феликса осталась усадьба да 92 десятины пахотной земли.

Не с мужественным и спокойным отцом имел сходство обожаемый в семье, почти эпилептически-нервный сын Феликс. Он был разительно схож с матерью, Еленой Янушевской, женщиной редкой красоты. Та же тонкость аристократических черт лица, те же прищуренные зеленоватые глаза и красиво вы-

писанный небольшой рот, по углам чуть опущенный презрительным искривлением.

Юношеские портреты будущего председателя ВЧК чрезвычайно схожи с портретом юного Рафаэля: Дзержинский был хрупок, женственен и строен, «как тополь киевских высот».

Но уже с детства этот нежный малокровный дворянский ребенок отличался необузданной вспыльчивостью, капризами воли и бурным темпераментом. Живой как ртуть, он был баловнем матери и дома назывался не иначе, как «феникс семьи».

Дзержинский воспитывался в строгом католицизме. Впечатлительный, нервный и страстный Феликс и тут был на «крайней левой»: «До 16 лет я был фанатически-религиозен», писал о себе Дзержинский уже будучи чекистом, и сам вспоминал из своей юности чрезвычайно интересный эпизод.

«— Как же ты представляешь себе Бога?» — спросил однажды Феликса старший брат, студент Казимир.

«— Бога? Бог — в сердце!» — указал Феликс на грудь. — «Да, в сердце!» страстно заговорил он, — а если я когда-нибудь пришел бы к выводу, как ты, что Бога нет, то пустил бы себе пулю в лоб! *Без Бога я жить не могу...*»

Странно было бы тогда предположить, что этот религиозный юноша-католик через 20 лет станет знаменитым чекистом. Но весьма вероятно, что история католической церкви, история инквизиции могли пробороздить душу экзальтированного щеголеватого шляхтича. Во всяком случае, насколько фанатичен в своей религиозности был будущий глава террора, говорит еще интересный штрих из юности Дзержинского.

Когда шестнадцатилетний Феликс стал готовиться к карьере католического священника, в религиозной семье Дзержинских это посвящение Феликса

Богу должно бы, казалось, быть встречено только одобрением. Но с желанием Феликса случилось обратное. Мать и близкий семье ксендз всеми силами воспротивились посвящению Феликса Дзержинского религии.

Оказывается, Феликс был не только религиозен, но фанатически-повелителен и нетерпим. Даже в родной семье на почве фанатизма у Дзержинского вспыхивали недоразумения. Он не только исступленно молился, нет, он *заставлял молиться* всех сестер и братьев. Что-то надломленное чувствовалось уже в этом отроке, чуждом неподдельной жизнерадостности. Из светло-зеленых глаз нежного юноши глядел узкий фанатик. И не фанатик-созерцатель, а фанатик действия, фанатик насилия.

Мать и духовник-ксендз отговорили будущего главу коммунистического террора от пути католического священнослужителя. Но сущность, разумеется, была не в пути, а во всем душевном строе, в страстях неистового Феликса. У «рафаэлевски» красивого юноши Дзержинского в том же году внезапно произошел душевный переворот. Он писал сам: «Я вдруг понял, что Бога нет!».

Многие знают, какую иногда драму несет с собой этот юношеский перелом. Со всей присущей страстностью воспринял его и Дзержинский. Но бурность Феликса иная. Дзержинский не углубленно-жившая в себе натура. Нет. Как у всякого фанатика, душевный строй Дзержинского был необычайно узок, и воля направлялась не вглубь, а на окружающее. О своем переломе он так и пишет: «Я целый год носился с тем, что Бога нет, и *всем это горячо доказывал*».

Вот именно на *доказательства всем*, на *агитацию всех*, на *подчинение всех* расходовал себя этот отягченный голубой кровью древнего род фанатический юноша. И разрушение всего, что не есть то, во что

верует Феликс Дзержинский, было всегда его единственной страстью.

Именно поэтому, разуверившийся в Боге, Дзержинский не сдержал обещания «пустить себе пулю в лоб». Он не знал себя, когда говорил. Такие Дзержинские не кончают самоубийством. Нет, они скорее убивают других. И юноша Дзержинский после фанатического исповедания католицизма и увлечения житием католических святых, внезапно «убив Бога», сошелся с кружком гимназистов Альфонса Моравского и, прочтя брошюру «Эрфуртская программа», по собственному признанию, — «во мгновение ока стал ея адептом».

Бог католицизма в душе Дзержинского сменился «Богом Эрфуртской программы». И опять везде, среди братьев и сестер, товарищей, родных, знакомых Феликс Дзержинский стал страстно проповедывать свои новые революционные взгляды, принципы атеизма и положения марксизма.

Болезненность, страстность, вывихнутая ограниченность души без широкого восприятия жизни сделали из религиозного католика Дзержинского столь же религиозного революционера-атеиста. Семнадцати лет выйдя из гимназии, он бросил всякое ученье и отдался целиком делу проповеди «Бога Коммунистического Манифеста».

Как всякий фанатик, в своем агитаторстве Дзержинский, не замечая того, подчас доходил до комизма. Так, приехав в гости к своему дяде в именье «Мейшгалы», щеголеватый шляхтич с лицом Рафаэля занялся исключительно тем, что агитировал дядину челядь, пытаясь, хоть и безуспешно, увести конюхов и кучеров к «Богу Эрфуртской программы».

Высокий, светлый, тонкий, с горящими глазами, с часто появляющейся в углах рта, не допускающей возражений саркастической усмешкой, с аскетическим лицом, обличающим сильную волю, с пронзительно-

резким, болезненно-вибрирующим голосом юноша Дзержинский уже тогда не видел ничего, кроме «проповеди революции».

«В нем чувствовался фанатик, — вспоминает его сверстник-большевик, — настоящий фанатик революции. Когда его чем-нибудь задевали вызывали его гнев или возбуждение, его глаза загорались стальным блеском, раздувались ноздри, и чувствовалось, что это настоящий львенок, из которого вырастет большой лев революции».

«Лев революции» — это часто встречающееся в коммунистической литературе именование Дзержинского мне кажется неслучайным и характерным. В католической литературе времен инквизиции вы найдете то же определение великого инквизитора Торквемады — «лев религии».

И вот когда большевистская революция разлилась по стране огнем и кровью, сорокалетний Дзержинский, человек больной, вывихнутой души и фанатической затемненности сознания, растерявший уже многое из человеческих чувств, пришел к пределу политического изуверства — к посту коммунистического Торквемады.

Он был вполне согласен с фразой Ленина — «пусть 90% русского народа погибнут, лишь бы 10% дожили до мировой революции».

3. «ШАПКА-НЕВИДИМКА».

Но в семье Дзержинских дети воспитывались не только в горячо-взятом католицизме. Культивировался еще и пафос национальной польской борьбы против поработительницы Польши — России. Как множество детей интеллигентных семей, и Феликс Дзержинский пил ядовитый напиток воспоминаний о зверствах Муравьева-Вешателя, о подавлении польских восстаний. Злопамятное ожесточение накоплялось в нем.

Надо быть справедливым: действительность не отказывала полякам в материале для ненависти к русскому правительству. Но легковоспламеняющийся будущий палач русского народа, фанатический Феликс Дзержинский, о котором сверстники-поляки говорили, что в юности он всегда напоминал им «какого-то героя из романов Сенкевича», и тут перебросил свою страстную ненависть через предел: с русского правительства на Россию и русских.

В 1922 году, когда Дзержинский был уже главой всероссийской чеки, он написал жуткие слова об этих своих юношеских чувствах к русским. Феликс Дзержинский писал: «Еще мальчиком я мечтал о шапке-невидимке и *уничтожении всех москалей*».

Вероятно, в том же Ошмянском уезде не у одного, а у двух мальчиков лелеялись одинаковые мечты. По соседству с «Дзержиновым», в другом родовом имении рос будущий маршал Польши — Иосиф Пил-

судский. Оба ребенка одного круга польского «крессового» дворянства и одинаковый яд пили в своих чувствах к России. Но если в 1920-м году пошедшему во главе войск на Киев руссоненавистнику Пилсудскому не удалось надеть своеобразную «шапку-невидимку», то в 1917 году, в начале «авантюры во всемирно-историческом масштабе», в арсенале Ленина «шапка-невидимка» нашлась для Дзержинского.

Предположим даже, что былая ненависть против «москалей» перегорела на Марксе, как перегорел на нем Бог католицизма. Но нет, душа человека бездонно глубока, и камень, упавший в этот колодец, из него уже не выпадет.

Можно быть уверенным, что та детская «шапка-невидимка» тоже определила кое-что в роли октябрьского Фукье-Тенвиля. Зовы и впечатления детства сильны. Они были сильны и в Дзержинском. Об этом говорит хотя бы факт страстного заступничества уже с ног до головы облитого кровью главы ВЧК Дзержинского за попавших в 1920 году в руки к чекистам католических священнослужителей. Одни чекисты настаивали на их расстреле. Но Дзержинский что было сил защищал их. Дело дошло до совнаркома. Тут русские большевики не без кровавой иронии кричали Дзержинскому: «Почему же ксендзам такая скидка?! Ведь вы ж без счету расстреливаете православных попов?!»

И все ж, с необычайной горячностью борясь за жизни католических священников, Дзержинский отстоял их. Кто знает, может быть, именно потому, что в юности с большим трудом отговорила мать своего любимца-Феликса стать священнослужителем католической церкви.

А «шапка-невидимка» одевалась Дзержинским, вероятно, тогда, когда он, например, 25 сентября 1919 года, «бледный как полотно», с трясущимися руками и прерывающимся голосом приехал на авто-

мобиле в тюрьму Московской чеки и отдал приказ по всем тюрьмам и местам заключения Москвы расстреливать людей «прямо по спискам».

В один этот день на немедленную смерть в одной только Москве он послал многие сотни людей. Помимо всех своих «вин», расстрелянные были ведь и *москалями*, попавшими в руки не только к неистовому коммунисту, но, может быть, и к надевшему «шапку-невидимку» нежному мальчику Феликсу.

4. ДЗЕРЖИНСКИЙ И ЛЭДИ ШЕРИДАН.

Апогеем красного террора была зима 1920 года, когда Москва замерзала без дров, квартиры отапливались чем попало, мебелью, библиотеками; голодные люди жили в шубах, не раздеваясь, и мороженая картошка казалась населению столицы верхом человеческого счастья.

В ночи зимы этого года, в жуткой их темноте колеблящимся светом ночь-напролет маячили грандиозные электрические фонари на Большой Лубянке. Сюда к Дзержинскому в квартал ЧК без устали свозили «врагов» революции. Здесь в мерзлых окровавленных подвалах в эту зиму от количества казней сошел с ума главный палач Чеки, латыш Мага, расстреляв собственноручно больше тысячи человек.

И в эту же зиму из туманов Лондона в Москву приехала скульптор лэди Шеридан. Снобистическая лэди хотела лепить головы вождей октябрьской революции, и среди прочих голов лэди, конечно, интересовала голова «ужаса буржуазии», Феликса Дзержинского.

Вождь террора Дзержинский на Лубянке проводил дни и ночи. Работать спокойно было не в его характере, да и не такова была эта кровавая работа. Дзержинский работал по ночам. Палачи — тоже. Ночью вся Лубянка жила бурной взволнованной жизнью. «Я себя никогда не щадил и не щажу», говорил о себе сорокалетний Дзержинский.

Про эту «беспощадность к себе» рассказывает и его помощник, чекист Лацис: «В ЧК Феликс Эдмундович везде жаждал действовать сам; он сам допрашивал арестованных, сам рылся в изобличающих материалах, сам устраивал арестованным очные ставки и даже спал тут-же на Лубянке, в кабинете ЧК, за ширмой, где была приспособлена для него кровать».

К тому ж, председатель ВЧК был «аскетом». Тот же палач Лацис сантиментально вспоминает, когда в голодную зиму 1920 года главе террора вместо конины курьер приносил более вкусные блюда, Дзержинский ругался, требуя, чтоб ему давали «обычный обед сотрудника чеки». Но чекисты «из любви» обманывали вождя террора, ибо «усиленная работа расшатывала изнуренный организм Феликса Эдмундовича, и уход за Феликсом Эдмундовичем был необходим».

Работа была, действительно, изнуряющая. Из-под пера Дзержинского смертные приговоры шли сотнями. «Дзержинский подписывал небывало большое количество смертных приговоров, никогда не испытывая при этом ни жалости, ни колебаний», пишет бывший член коллегии ВЧК Другов. А после взрыва в Леонтьевском переулке Дзержинский перешел уж к бессчетным массовым казням.

Странно, как при такой занятости, уже с ног до головы кровавый Дзержинский нашел-таки время стать моделью заморской лэди? Как и почему, может быть, даже выйдя прямо из подвалов Чеки, он поехал позировать?

Психологическая разгадка, вероятно, несложна. Мы знаем, по свидетельству историков, что бедный кабинет Максимилиана Робеспьера был все-таки украшен... собственными изображениями карандашем, резцом, кистью. И в зале Кремля сеанс состоялся. Утонченная лэди даже запечатлела этот сеанс в своих воспоминаниях.

«Сегодня пришел Дзержинский. Он позировал спокойно и очень молчаливо. Его глаза выглядели, несомненно, как омытые слезами вечной скорби, но рот его улыбался кротко и мило. Его лицо узко, с высокими скулами и впадинами. Из всех черт его, нос, как будто, характернее всего. Он очень тонок и нежные безкровные ноздри отражают сверхутонченность. Во время работы и наблюдения за ним в продолжение полутора часов он произвел на меня странное впечатление. Наконец, его молчание стало тягостным, и я воскликнула: «У вас ангельское терпение, вы сидите так тихо!» Он ответил: «Человек учится терпению и спокойствию в тюрьме». На мой вопрос, сколько времени он просидел в тюрьме, он ответил: «Четверть моей жизни, одиннадцать лет...»

Да, Дзержинский прошел большую и тяжелую школу царских тюрем, хотя эти тюрьмы были «пансионами» в сравнении с теми чекистскими подвалами, куда в годы террора Дзержинский загнал Россию. Но и царские тюрьмы ломали многих. И мы знаем, что в канун русской революции 1917 года, в царской тюрьме стал сламываться и Феликс Дзержинский.

Полныя сведения о душевном надломе будущего вождя террора, вероятно, хранятся под замком у секретаря коммунистической партии. Но есть все же печатные документы, по которым известно, что в Орловском централе за год до революции за «одобрительное поведение» Дзержинскому даже был сокращен срок наказания, а сидевшие там политические рассказывают, как не высоко уж перед революцией держал красное знамя Феликс Дзержинский.

Но этот надлом воли произошел в восьмой по счету тюрьме, на десятом году тюремных странствований. В ранние же годы, когда первой тюрьмой Дзержинского был ковенский замок, фанатический юноша был несломим.

5. «АСТРОНОМ».

Первой тюрьме Дзержинского предшествовало двухлетнее революционное крещение, когда семнадцатилетний дворянский юноша, уйдя из семьи, поселился в Вильно на заброшенной грязной мансарде с рабочим Франциском и под странной кличкой «Астроном» стал профессиональным революционером.

С этого дня жизнь Дзержинского стала однообразно-целеустремленна. Собственно говоря, жизнь даже прекратилась, ею стали агитация и борьба. Эту безжизненную жизнь душевно-узкого фанатика прекрасно освещает такой эпизод.

Один из будущих коммунистических вельмож, контрабандист военного времени и уличенный шпион Ганецкий, в юности друг «Астронома», увел как-то юношу-аскета на выставку картин. Пробыв на выставке полчаса, Дзержинский, возбужденный и негодующий, выбежал на улицу: «Зачем ты повел меня сюда?» — кричал он, ругаясь. — «Эта красота слишком привлекательна, а мы, революционеры, должны думать только и исключительно о нашем деле! Мы не должны давать себя увлекать никакими красотами!»

Так и жил на мансарде молчаливый дворянский юноша «Астроном», сменивший щеголеватый костюм на одежду под пролетария. Первые заработанные 50 рублей Дзержинский жертвует партии. Для агитации среди еврейских рабочих учит еврейский язык, для агитации среди литовцев — литовский . Фана-

тизм и трудоспособность при чрезвычайной узости и ограниченности мысли — вот основные черты этого схоластического и изуверского «Астронома». Единственное, что он требовал от себя и своих товарищей: «итти напролом к цели».

«Астроном» сам пишет прокламации, сам печатает, сам с рабочим Франциском по ночам расклеивает их на виленских заборах. В трактирах, кабаках, где после получки собирались отдохнуть и повеселиться рабочие, появлялся этот странный ясновельможный паныч в облезлом пальто и рыжих сапогах.

«Астроном» не пил и органически не умел веселиться. Но не для этого и приходил сюда юноша Дзержинский. Он ходил ради идейного увода душ, ради пленения умов собиравшихся здесь рабочих. Что руководило «Астрономом»? Благо человечества? Жажда справедливости? Эти эмоциональные стимулы чрезвычайно ярки у русских революционеров-народовольцев. Но именно отсутствием всего эмоциональнаго и был «страшен» этот душевный кастрат, будущий вождь ВЧК, «Астроном».

Верную черту, хоть и случайно, отмечает в характере Дзержинского коммунистический бонвиван и беззаботный перевертень Радек. «Дзержинский никогда не идеализировал рабочий класс». Это очень верно. Те конкретные Иваны да Марьи, которых юный Дзержинский агитировал в кабаках, были абсолютно чужды и в своей конкретности даже ненавистны революционной фантазии жившего на мансарде «Астронома».

Но и у них, живых полнокровных людей, наполнявших трактиры и воскресные танцульки, любящих и выпить, и закусить, этот фанатичный «Астроном» не вызывал никаких симпатий.

В кабаке возле Стефановского рынка будущего главу ВЧК рабочие били бутылками. А в другой раз рабочие с завода Гольдштейна, поймав на темной

улице охваченного фанатической идеей родовитого паныча, избили его еще серьезнее с нанесеним ножевых ран в висок и голову, так что «Астроному» пришлось зашивать эти раны у доктора.

Единственно, чем, кроме изучения еврейского и литовского языков, составления прокламаций и «наблюдения в телескоп за революцией», разрешал себе в часы отдыха заниматься аскетический «Астроном», это чтением «Эстетики» Веррона и писанием собственных стихов. Совпадения редко бывают случайны: Робеспьер писал напыщенные стихи. О стихах же Дзержинского даже Троцкий говорит, что они были «из рук вон плохи».

Но «любовь к изящному» жила в чекисте Дзержинском на протяжении всей его жизни. Эта черта присуща не только ему, вельможе-чекисту, но многим персонажам красного террора. В. Р. Менжинский — любитель персидской лирики и автор декадентских романов, правда, не увидевших света. Кончивший жизнь в сумасшедшем доме, самолично расстреливавший арестованных начальник Особого Отдела ВЧК доктор М. С. Кедров — знаток музыки и пианист-виртуоз. Заливший Армению кровью чекист А. Ф. Мясникьян — автор труда «О значении поэзии Ов. Туманяна». Следователь петербургской ЧК Озолин — «поэт», к нему не кто-нибудь, а сам А. Блок, преодолевая отвращение, приходил хлопотать за схваченных чекой литераторов. И даже просто заплечных дел мастер Эйдук, и тот напечатал стихи в тифлисском сборнике «Улыбка Чека»:

«Нет большей радости, нет лучших музык,
Как хруст ломаемых жизней и костей.
Вот отчего, когда томятся наши взоры
И начинает бурно страсть в груди вскипать,
Черкнуть мне хочется на вашем приговоре
Одно бестрепетное: «К стенке! Расстрелять!»

Я думаю, при подписании многочисленных смертных приговоров подобные эмоции мог пережить и Дзержинский. Но столь вульгарных стихов он, конечно, не писал. Его юношеские поэмы были либо барабанно-революционны, либо элегичны, когда посвящались молодой революционерке Юлии Гольдман, к которой «Астроном» относился с налетом влюбленности. Впрочем, женщины в жизни Дзержинского никакой роли не играли. По красочному выражению чекиста Лациса, его «единственной дамой сердца была пролетарская революция».

В Вильне писавшего на мансарде стихи и прокламации юношу «Астронома» царская полиция заметила довольно быстро, дав ему кличку «Рыбкин». О «Рыбкине» завелось даже «дело на 24 листах». А после вспыхнувшей в Вильно забастовки «Астроному» пришлось бежать с виленской мансарды в Ковно.

Но и ковенская полиция не покидала «Астронома», получая о нем полицейские рапорты: «В начале лета появилась крайне подозрительная личность, дворянин Феликс Дзержинский, который стал знакомиться и входить в сношения с рабочими разных фабрик, и кроме того, говорил, что если рабочие в городах будут бунтовать, то поднимутся и деревенские люди и можно будет легко порешить с правительством и основать республику, как в Северо-Американских Соединенных Штатах».

Желание Дзержинского основать «республику как Америку» едва ли соответствует действительности. У «Астронома» были иные идеалы. Но в сношения с сапожниками маленькой мастерской Подберезского «Астроном» действительно вошел и, работая довольно-таки по-бесовски, угрожая нежелающим бастовать «побоями и даже убийством», раскачал их на двухнедельную стачку.

Но в момент, когда «Астроном» передавал в

скверике возле военного собора нелегальные брошюры, озаглавленные «Черный Ворон», жандармы схватили его и отвезли в тюрьму. Будущего главу ВЧК, оказывается, выдал полиции провокатор всего-навсего за... десять рублей.

В первой тюрьме «Астроном» провел год. Из тюрьмы писал товарищам: «жандармы бьют меня, и я им отомщу». И отомстил с лихвой. Только мести пришлось ждать 20 лет. А пока что, после года тюрьмы, юноша с хитрым подмигиванием и часто выходящей на лицо саркастической усмешкой отправился «на основании высочайшего повеления за революционную пропаганду среди ковенских рабочих в Вятскую губернию под гласный надзор полиции на три года»: относительная мягкость приговора мотивировалась несовершеннолетием преступника.

Эта ссылка была первым знакомством Дзержинского с Россией.

6. ГУБЕРНАТОР КЛИНГЕНБЕРГ И ДЗЕРЖИНСКИЙ.

Летом 1898 года двадцатилетний Дзержинский ехал по той самой железной дороге на север России, по которой через 20 с лишним лет он, как глава коммунистического террора, погнал многие сотни тысяч людей.

Стоял жаркий июль. 29-го числа поезд с ссыльными прибыл в Вятку, и их отвели в тюрьму, ждать парохода для дальнейшего следования. Но несколько дней из-за мелководья не прибывал пароход, и заносчивый арестант Дзержинский послал из тюрьмы письмо вятскому губернатору с требованием не задерживать его в заключении, а разрешить ехать за собственный счет с первым же судном, но «без конвоя, ибо средств на оплату конвоиров не имею».

Полицейская аттестация юноши, «проявлявшего во всем крайнюю политическую неблагонадежность», и его вызывающее письмо заставили губернатора Клингенберга заинтересоваться будущим вождем ВЧК. В Вятской губернии тогда было достаточно будущих вельмож коммунизма, тут жили Стучка, Воровский, Смидович, но никто не вел себя столь бравурно, как Дзержинский.

Чиновнику особых поручений князю Гагарину губернатор Клингенберг приказал привезти к нему написавшего письмо Дзержинского.

«— Кто он, собственно, такой?» — не без брезгливости спрашивал губернатор.

«— Неокончивший гимназист... дворянин... совсем юный..»

Губернатор захохотал: «Уди-ви-тель-ны-е времена! Неокончившие гимназисты занимаются рабочими вопросами! А ну, пришлите-ка его ко мне, я его отчитаю. Тюрьма, наверное, дурь-то из него выбила!»

И через час в дверях губернаторского кабинета появился высокий, бедновато одетый молодой человек, с бросающимся в глаза бледным энергичным лицом и блуждающей на тонких губах усмешкой. Губернатор с любопытством оглядел вошедшую фигуру.

«— Ссыльный Феликс Дзержинский», — проговорил вошедший звенящим польским акцентом.

«— Так вот какие у нас революционеры! Недоучившиеся гимназисты!» — гаркнул по-военному губернатор, стукнув кулаком по столу, и побагровел. — «Посмотритесь в зеркало, молодой человек! У вас молоко на губах не обсохло, а туда же сунулись «рабочими вопросами» заниматься! Что вы смыслите?! Надеюсь, тюремное заключение образумило вас! У вас есть мать и отец? Сколько вам было лет, когда вас арестовали?»

Дзержинский обвел взглядом комнату и проговорил:

«— Прежде всего, разрешите взять стул».

Губернатор остолбенел.

«— Советую вам понять», — закричал Клингенберг, — «что находитесь под надзором полиции! Прошу вести себя прилично! Мне не о чем больше с вами говорить! Вон!»

Тем и кончилась беседа губернатора с будущим главой ВЧК. Не знаю, дожил ли Клингенберг до революции, когда этот «бледный юноша с саркастической усмешкой» расстреливал таких, как Клингенберг, «прямо по спискам».

Через день на пришедшем пароходе ссыльный Дзержинский отбыл в назначенный ему город Нолинск. Но из Нолинска Клингенбергу доносили, что этот ссыльный «успел произвести влияние на некоторых лиц, бывших ранее вполне благонадежными». И хорошо помня Дзержинского, губернатор на рапорте наложил резолюцию: «За строптивость характера отправить под конвоем дальше на север в село Кайгородское. Пусть холодный северный климат немножко остудит революционный пыл».

7. ПЕРВЫЙ ПОБЕГ.

Село Кайгородское расположено в 200 верстах от города Слободского на берегу Камы, среди нетронутой красоты русского севера. Сюда на тряской телеге в сопровождении стражника привезли двух молодых ссыльных, марксиста Дзержинского и народника Якшина.

Трудно было бы представить более противоположных людей, чем эти два ссыльных. Угловато-сложенный, порывистый, с живыми глазами на некрасивом монгольском лице, неуравновешенный и бурный великоросс плебей Якшин и сухой фанатический красавец-шляхтич Дзержинский.

Якшин очень любил природу, людей, в детстве беспризорным шлялся он по России. Его революционность была чувственной, «дантоновской», идущей от сердца. Натура сердечная, открытая, Якшин сразу сошелся с кайгородскими мужиками. Поет песни, пляшет с девками, пьет водку, купил челнок и рыболовные сети, ездит с мужиками на рыбалку, рассказывает мужикам были и небывальщины, словом, всецело отдался на лесных берегах красавицы Камы окружающей его природе и жизни.

И полной противоположностью «дантоновскому» народнику был аристократ Феликс Дзержинский. Мужики, сошедшиеся с Якшиным, чуждались замкнутого родовитого барича. В спорах после рыбной ловли, когда Якшин заливал уху доброй порцией водки и

со всей пьяной бурностью нападал на сдержанного, непьющего Дзержинского, последний отвечал только язвительными репликами «робеспьеровской» натуры.

Ни красота севера, ни рыбалки, ни Кама, ни девки, покорившие сердце Якшина, не трогали плоти и воображения Дзержинского. Внешняя жизнь всегда лишь как по зеркалу скользила по металлической душе этого вывихнутого человека. Люди такого склада не замечают жизни, у них «не поворачивается шея», и видима им только захватившая их «цель», к которой прут они через все препятствия.

С берегов Камы в 1898 году Дзержинский так и писал о себе своей сестре: «Ты знала меня ребенком, подростком, но теперь, как мне кажется, я уже могу назвать себя взрослым, с установившимися взглядами человеком, и жизнь может меня лишь уничтожить, подобно тому как буря валит столетние дубы, но никогда не изменит меня. Я не могу ни изменить себя, ни измениться. Мне уже невозможно вернуться назад. Условия жизни дали мне такое направление, что течение, которое меня захватило, для того только выкинуло сейчас на некоторое время на безлюдный берег, чтобы затем с новой силой захватить и нести с собой далее и далее, пока я до конца не изношусь в борьбе, то-есть, — пределом моей борьбы может быть только могила».

По вечерам в освещенной лучиной избе Дзержинский резко обрывал тирады Якшина об ухе, рыбе, Каме, девках, закате.

«— Брось, мне чужды твои стерляжьи интересы! Я не в праве пользоваться хотя бы даже этой кратковременной передышкой. Я жажду борьбы и для нее убегу отсюда, чего б мне это ни стоило».

И вот когда Дзержинский с Якшиным плыли однажды в челноке, будущий вождь террора посвятил товарища по ссылке в выработанный план побега.

«— План простой», — говорил Дзержинский, — «Кама течет по лесистым пустынным местам, течение быстрое, оно и окажет мне помощь. Никакой карты не нужно, возьму провианту дней на десять, доплыву до Усолья иль до Перми. Вылезу где-нибудь, дойду до железной дороги, сел на поезд и поехал. А если встрянутся, ты должен помочь, хоть ты и народник», — саркастически усмехался Дзержинский. — «Сделаем вид, что поехали за рыбой и задержались. Ты пробродишь где-нибудь несколько дней будто вместе со мной, а потом недели через две придешь к уряднику и скажешь, что Дзержинский, мол, ушел на рыбалку и до сих пор его нет наверное заблудился».

29-го сентября 1899 года Дзержинский на чуть брезжившем рассвете вошел в челнок на реке Каме и оттолкнулся от берега. Вскоре на излучине реки из глаз Якшина скрылась его белая рубаха, а через две недели губернатор Клингенберг пришел в ярость, узнав, что ссыльный Дзержинский бежал.

Для поимки губернатор разослал начальникам жандармских управлений бумагу: «29-го сентября сего года ссыльный дворянин Феликс Эдмундович Дзержинский скрылся из места водворения, села Кайгородского Слободского уезда, приметы следующие: рост 2 аршина 7 вершков, телосложение правильное, наружностью производит впечатление *нахального* человека, цвет волос на голове, на бровях и пробивающихся усах темнокаштановый, по виду волосы гладкие, причесывает их назад, глаза серого цвета, выпуклые, голова окружностью 13 вершков, лоб выпуклый в 2 вершка, размер носа 1 с четвертью вершка, лицо круглое, чистое, на левой щеке две родинки, зубы чистые, рот умеренный, подбородок заостренный, голос баритон, очертание ушей 1 с четвертью вершка».

Розыски ни к чему не привели.

«— Задержи его, поди», — говорили кайгородские мужики, — «не рад жизни будешь, он никакой нечистой силы не боится... дьявол, чистый дьявол...»

И через месяц севший в челнок на Каме Дзержинский вынырнул из-под половицы революционного подполья в Польше.

8. *ПРЕЗИДЕНТ «ТЮРЕМНОЙ РЕСПУБЛИКИ».*

Но в варшавском революционном подпольи Дзержинский только четыре месяца проходил на свободе. Эти месяцы прошли в его яростной борьбе с польской социалистической партией, захватившей за это время влияние на рабочих.

«— Метод нашей борьбы должен быть прост», — говорил двадцатитрехлетний Дзержинский, — «мы должны вступать к пепэсовцам, проникать в их среду и, ведя до поры до времени осторожную, но непреклонную борьбу, разлагать их изнутри».

За четыре месяца этой работы Дзержинский провел-таки свой план. Оторвав от ППС некоторую часть рабочих, он встал во главе сколоченной им партии «Социал-демократы Польши и Литвы».

Кроме вседозволенности методов действия, характерной чертой Дзержинского, как организатора, была необычайная педантичность и аккуратность. Назначаемые заседания он посещал минута в минуту, на явках бывал на месте точно до секунды, к тому же славился тонкостью конспирации, так же незаметно появляясь на подпольных квартирах, как и незаметно исчезая.

В ту пору Дзержинский был молод и все же во главе «Социал-демократической партии Польши и Литвы» он уже выростал в сильную своим фанатизмом фигуру, увлекая за собою эту небольшую организацию.

Но как ни был он конспиративен, а на одной из сходок 23-го января 1900 года, где Дзержинский читал реферат, его схватила полиция. Дзержинский назвал себя Ивановским, потом Жебровским, но как только его привезли в каменный мешок Х-го павильона Варшавской крепости, личность «молодого человека, производящего нахальное впечатление», была тотчас установлена.

Из Варшавской крепости опасного преступника повезли в Седлецкую тюрьму, где заключенный в узкую камеру с малым оконцем Дзержинский пробыл весь 1900-й год. Робеспьер, нежно любя свою собаку «Броуна», не особенно распространял эту нежность на ближних. Во многом душевно схожий с ним Дзержинский мог часами играть с котенком, к людям же умел быть нежен только к их одной и притом очень незначительной категории: к своим партийным товарищам.

В Седлецкой тюрьме он ухаживал за больным другом Антоном Россолом, нося его на себе по лестнице на прогулку. Но вскоре Дзержинского с Россолом разъединили: нелегальный пропагатор Дзержинский по высочайшему указу пошел в ссылку на пять лет в город Вилюйск, в 400 верстах от Якутска.

В эту сибирскую ссылку Дзержинский двинулся этапным порядком, от тюрьмы до тюрьмы. Это — второе знакомство Дзержинского с Россией. Короткое время провел он в Московской пересыльной, но наконец в мае 1902 года дошел и до знаменитого в Сибири Александровского централа.

Тут как раз вспыхнуло восстание политических заключенных, в котором Дзержинский сыграл заметную роль. На сходке политических, где они требовали ряд льгот, возбужденный, бледный, с лихорадочным блеском глаз Дзержинский председательствовал. Предъявили администрации тюрьмы ультиматум. Ад-

министрация ультиматум отклонила, и тогда неистовый Феликс предложил: «выкинуть из пересыльного корпуса всю стражу, запереть ворота и не пускать администрацию до удовлетворения всех требований!»

Через 16 лет, когда все русские тюрьмы сменили двуглавого орла на серп и молот, и портреты царя на портреты Ленина, перейдя в управление именно к этому самому Дзержинскому, никакой такой «тюремной революции» произойти уже, конечно, не могло. Таких восставших чекисты просто расстреливали из пулеметов.

У самодержавия тоже были идеологи террора, но до методов Дзержинского им было далеко. Сейчас даже трудно представить: заключенным в Александровском централе в точности удалось выполнить предложение ссыльного Дзержинского. Восставший тюремный корпус действительно выкинул за ворота всех стражников и, забаррикадировавшись досками и бревнами, объявил себя «самостоятельной республикой», водрузив над воротами красный флаг с надписью «Свобода!»

О, какая ж ирония! «Президентом» этой республики с флагом «Свобода» был ни кто иной, как Феликс Дзержинский.

Настроение граждан «самостоятельной республики» подымалось. Диктаторская тройка во главе с Дзержинским объявила «чрезвычайное положение». Не на шутку обеспокоенный начальник тюрьмы Лятоскович, запросив Иркутск, получил телеграфное распоряжение: «Оружия не применять, вступить в переговоры, пытаясь уладить конфликт мирно». Переговоры Лятосковича с «республикой» начались через отверстие в заборе перед лицом выстроившейся и готовой к бою воинской команды.

Увы, для этих переговоров Дзержинский оказался неподходящ. Заключенные сами заменили его не

столь бурным товарищем, который и договорился с приехавшим из Иркутска вице-губернатором об удовлетворении требований. «Республика» каторжнаго централа убрала баррикады, сняла флаг и кончила свое трехдневное существование.

9. ПОБЕГ ИЗ СИБИРИ.

Скупой на слова, мрачный, раздраженный, уже больной туберкулезом Дзержинский дальше шел по Сибири, задумав еще в централе бежать с пути по реке Лене на лодке. И когда в июне партия тронулась вглубь Якутской области, Дзержинский вместе с эс-эром Сладкопевцевым, ночью оставшись, как больные, в Верхоленске, привели план в исполнение.

Об этом побеге со свойственной перу Дзержинского сантиментальностью рассказал он сам в польском журнале «Червонный штандар»: «Полночь пробила на церковной башне; два ссыльных погасили огонь в своей избе и тайком, чтобы не разбудить хозяев, вылезли через окно на двор. Далекий и опасный путь стоял перед ними; им пришлось навсегда попрощаться с этими прекрасными, но пустынными, дышащими смертью, чуждостью и неволей местами. Как злодеи прокрадывались они возле хижин, внимательно присматриваясь, нет ли кого вблизи, не следят ли за ними. Кругом было тихо, деревня спала. Они нашли лодку, тихонечко вошли в нее, чувствуя в себе силу и веру, что уйдут отсюда. Сердце ихъ сжалось от боли, когда вспомнили, что в той же деревне томятся их братья и будут еще томиться, скучать и выжидать сведений с поля брани, куда беглецы сейчас спешат, несмотря на царские указы, на охрану и постоянные наблюдения шпиков. Чувство это, однако, продолжалось один мо-

мент. На другой берег быстрой и широкой Лены должны они были переплыть тихо, чтобы не было никакого шума. Сперло дыхание, сердце сжалось от радости, — они уже плывут, деревня быстро скрывается и вскоре совсем скрылась в темноте. Крик радости вырвался тогда из груди, измученной двухлетним пребыванием в тюрьме. Беглецы хотели обнять друг друга, громко кричать о своей радости, чтобы весь мир услыхал и узнал, что вот, будучи изгнанниками пять минут назад, они перестали ими быть, почувствовали себя по-настоящему свободными, ибо сбросили кандалы и не сидят в изгнании, где царь велел им сидеть,..»

Переплывание Лены в лодке чуть не стоило жизни будущему главе ВЧК. В густом тумане в ночной темноте лодка наткнулась на дерево, и Дзержинский от удара упал в реку. Схватившись за борт, он перевернул лодку, лодка пошла ко дну. Сладкопевцев выскочил на дерево и только с трудом вытащил из воды Дзержинского. Они оказались на острове, с которого на рассвете проезжавшие мужики взяли их на берег.

Перед мужиками Дзержинский разыграл довольно тонкую комедию, рассказав, что он купец, едет в Якутск за мамонтовой костью, но вот случилось несчастие, лодка пошла ко дну со всем скарбом. Поверившие мужики дали Дзержинскому подводу ехать через Балаганск и Иркутск к «отцу за деньгами».

Дзержинский поехал. Но за тайгой в одной из деревень подводу остановила толпа крестьян, и тут уж настоящую хлестаковщину разыграл будущий вождь террора. Дзержинский изобразил из себя «оскорбленного барина», кричал на мужиков, потребовал бумагу и, спрашивая фамилии крестьян, начал писать «жалобу генерал-губернатору».

Угрозы и барственный вид Дзержинского подей-

ствовали, мужики отпустили его. Через бурятские степи Дзержинский с Сладкопевцевым доехали до железной дороги. А через 17 дней Дзержинский был уже снова в Польше, откуда бежал дальше, в Германию, в Берлин, ибо в Польше его партия была вдребезги разбита.

Рассказывают, что в Берлине на вождей польской социал-демократической партии Люксембург, Мархлевского, Варского Дзержинский набросился с бранью и упреками в бездействии. Он требовал организации живой связи с Польшей. По энергии и темпераменту с Дзержинским никто соперничать не мог, и, победив всех, он выехал в Краков ставить отсюда нелегальную работу для Польши.

Правда, и на этот раз недолго прометался Дзержинский на свободе, но все же успел основать два партийных журнала, «Червонный штандар» и «Социал-демократическое обозрение», наладить нелегальную связь и создать «технику» доставки литературы в Польшу. Причем он сам, инструктируя агитаторов, несколько раз перевозил в Варшаву прокламации и журналы.

В партии о 25-летнем Дзержинском уже ходили легенды, говорилось о его аскетизме, непреклонности. Дзержинский вырастал среди своих в политическую силу. «Не смей ему напомнить об отдыхе, еде, не заикайся о том, чтоб отказался от выступления, обругает, не послушает», писали о Дзержинском.

Дзержинский — то в Варшаве, то в Ченстохове, то в Лодзи, то в Литве. Еще мечась на свободе, он участвовал в конференциях, съездах и наконец в 1905 году, когда революционные волны поднялись, он вместе с будущим полпредом Антоновым-Овсеенко, тогда поручиком пехотного полка, попробовали произвести военное восстание в Новой Александрии. Но попытка сорвалась, и еле-еле унес ноги Дзержин-

ский в Варшаву, где вскоре же и был схвачен на партийной конференции.

Эта конференция «преступного сообщества» собралась на станции Дембе-Вельке в лесу имения «Островец» Новоминского уезда. Предупрежденная провокатором полиция двинула эскадрон 38-го Владимирского драгунского полка, и кавалеристы, окружив лесную конференцию кольцом, бросились на нее.

Дзержинский был схвачен. Оставшиеся в Варшаве члены партии пытались организовать ему побег. В Новоминск, где он был заключен, прибыли три партийца и через подкупленных солдат снеслись с Дзержинским, но от побега Дзержинский отказался, считая «невозможным перед товарищами разыгрывать генерала». Дело было в ином. Дзержинский боялся побегом набросить на себя тень, ибо все знали, что конференция схвачена благодаря провокации.

Это было как раз время, когда вся Россия уже заходила революционными волнами. В Москве — вооруженное восстание, деревня гудит предвестниками взрыва. И бурной осенью 1905 года, после манифеста 17-го октября, по всеобщей амнистии, заключенный Дзержинский вышел из тюрьмы на свободу.

Из X-го павильона Варшавской крепости он приехал прямо — куда? На партийное совещание, на Цегляную улицу в квартиру Ландау. Был поздний вечер. Собравшиеся не зажигали огня, ибо квартира выходила на улицу, друг друга узнавали либо по голосу, либо ощупью.

В темноте, не начиная совещания, передавали, что «прямо из тюрьмы» приедет Феликс. Его ждали. Наконец с улицы в темноту вошли несколько человек, и все присутствующие узнали, что пришел Дзержинский.

Он первый начал речь в темноте. Эта речь была фанатическим призывом к восстанию.

«— К оружию! Только теперь к оружию! Не доверять подачкам царя! Не доверять буржуазии! У нас свои цели!»

И снова освобожденный Дзержинский бросился в конференции, в неспаные ночи, в конспирацию химических чернил. В Варшаве создал три нелегальных типографии, печатая прокламации на польском, русском, еврейском и немецком (для рабочих Лодзи) языках.

Работая ночь-напролет, наборщики тайных типографий валились съ ног, по неделям не раздеваясь, но руководитель дела, бледный, почти что с прозрачным лицом, с остренькой бородкой и горевшими больным огнем глазами Дзержинский подбадривал их:

«— Ничего, ничего, при помощи такой возмутительной эксплоатации вас партия добьется быстрого раскрепощения трудового народа».

Увы, история показала, что наборщики проработали впустую. Партия Дзержинского через десять лет добилась власти, но не раскрепостила, а закрепостила трудящихся еще небывалым полицейским гнетом.

«Как огонь движется он по всей стране, везде подымая настроение», вспоминали о Дзержинском его товарищи. И действительно, на революционной арене Польши 29-летний Дзержинский выходил в явные «вожди», как раз в тот момент, когда в русской социал-демократии в полном блеске уже действовала циническая и столь же партийно-фанатическая фигура Ленина. И если многие польские социал-демократы тянули вправо к организационным методам умеренной социал-демократии Запада, то «огонь» Дзержинский добивался всеми силами противоположного: союза с Лениным.

Эти роковые для судьбы России люди еще не видели друг друга, хоть и шли уж на смычку. Их объединение произошло в 1906 году на Стокгольмском съезде, где Ленин впервые встретился с Дзержинским. Бесовский, циничный, прекрасно разбирающийся в людях Ленин сразу оценил вождя «Социал-демократии Польши и Литвы» Дзержинского, славившегося аскетизмом, фанатизмом и вседозволенностью методов борьбы.

Фигуры этих пошедших в революцию «дворян», воплотителей бредовой идеи террористическо-полицейского коммунизма были разны во многом. Нетерпеливый, горячий, заносчивый, нервный поляк Дзержинский и спокойный монголообразный циник с хитрой сметкой Ленин. Общим у них было одно, у обоих совершенно «не поворачивалась шея»: кроме всероссийской социальной революции оба не видели ничего.

Малообразованного, недалекого, не питавшегося ничем, кроме брошюрок, Дзержинского Ленин, конечно, превосходил и умом, и образованием на две головы. Но Дзержинский и не претендовал на роль коренника объединенной партии. Зато Ленин сразу понял, что этот фанатический поляк — замечательная пристяжная в той тройке, в которую Ленин впрягся коренником и которая разомчит всю Россию. И Ленин «обласкал», приблизил к себе этого «инфернального молодого человека», понимая, что именно такие нужны для его ленинского дела.

Он ввел Дзержинского в ЦК объединенной всероссийской партии.

10. ТЮРЕМНЫЙ ДНЕВНИК.

После разгрома первой революции, в апреле 1908 года Дзержинский в Варшаве вновь в пятый раз был схвачен полицией и заключен в тюрьму.

В те дни Варшавская тюрьма жила странной жизнью. В камерах — нездоровый юмор, неестественная приподнятость и веселость. Иногда сутки напролет тюрьма пела и танцовала. Из камеры в камеру шла «стуканная почта» членов разгромленных революционных организаций. Стучали о назначенной казни, о раскрытом провокаторе, и каждодневно заключенные убивали время, играя в странную тюремную игру — «дупака».

Игра несложна. Один в коленях другого прятал голову, а стоящие кругом ударяли его по заду до тех пор, пока зажатый не угадывал, кто ударил. Тогда ложился угаданный, и снова в камере раздавались удары.

Товарищи Дзержинского рассказывают, что тридцатилетний, худой, с ввалившимися щеками и стеклянными безучастными глазами, уже сильно больной туберкулезом будущий вождь ВЧК играл в дупака с присущей ему азартностью и запальчивостью. Особенно, если зажатый был, например, эс-эр. Заключенные, смеясь, даже предполагали, что столь своеобразным способом Дзержинский сводил с противником политические счеты.

Так шла жизнь тюрьмы. А когда Дзержинского

поместили в одиночку X-го павильона, он на клочках папиросной бумаги стал писать дневник, раскрывая в нем «тайнейшие уголки души», изливая свою «грустную» душу и пересылая его на волю.

«На дне моей души тишина и какое-то непонятное спокойствие, не гармонирующее ни с этими стенами, ни с тем, что осталось вне этих стен», — писал 30-го апреля Дзержинский, — «я чувствую порой такой гигантский источник энергии, что, кажется, выдержу все и вернусь. А если не вернусь, то, может быть, мой дневник попадет в руки моих друзей, и они будут иметь меня, частицу меня, и уверенность в том, что я был спокоен и что призывал их в минуты тишины и скорби и радостных мыслей, и что мне было хорошо, как только может быть хорошо одному, в тишине с мыслями о весне, о природе, а тишина временами такая, что увидеть можно свои мысли и дружескую улыбку... Каждый день заковывают в кандалы все больше и больше людей. Холодное бездушное железо, соединенное с живым человеческим телом, железо, вечно жаждущее тепла, никогда не насыщенное и всегда напоминающее неволю. Когда выходят на прогулку, вся тюремная тишина наполняется одним этим лязгом, проникающим во все фибры души и властно заполняющим все существование. Они ходят со взором, устремленным в небо, на зеленеющие деревья, не замечая красоты, не слыша гимна жизни, не чувствуя лучей солнца. Заковывают их, ибо хотят отнять у них все, оставив только этот похоронный звон... Если б звезда социализма, звезда будущего, не светила человечеству, не стоило бы жить..»

Казалось бы, как тонко понимал Дзержинский тюрьму и ее тоску несвободы. И именно этот страшный своей худобой арестант с почти прозрачным страдальческим лицом и реденькой кудрявой бородкой, всего через несколько лет создал в России та-

кое количество тюрем, какого за столетия не создало самодержавие.

Правда он сменил в тюремных канцеляриях портреты Николая II-го на портреты Ленина, но тюремная тоска от этого не уменьшилась.

Сидя уже в красной тюрьме, социалистка А. Измайлович, пробывшая при самодержавии 11 лет на Нерчинской каторге, на клочках бумаги тоже вела в коммунистическом «доме лишения свободы» тюремный дневник: «Была самодержавная монархия. Стала Советская «Социалистическая» Республика, а тюрьма — та же. Разве только грязнее. Да места стало мало. Но по существу решительно никакой разницы. И даже стены расписаны так же. Вот картинка: расстрел. Несколько фигур, уродливо, по-детски нарисованных, выстроились в ряд, а другой ряд фигур стреляет в них из винтовок. Это не поэтический вымысел. Отсюда недавно ушли на расстрел шесть человек. Под картинкой типичная надпись: «попал прямо в ....» И от этого цинизма картина делается жуткой».

В это время Дзержинский жил в кабинете ВЧК. «Он не имел никакой личной жизни. Сон и еда были для него неприятной необходимостью, о которой он никогда не помнил. Обед, который ему приносили в кабинет, чаще всего уносился обратно нетронутым. Он беспрерывно рылся в бумагах, изучал отдельные дела и с особенной охотой занимался личным допросом арестованных. Происходило это всегда ночью. Повидимому, из долгой своей тюремной практики Дзержинский знал, что ночью психика человека не та, что днем. В обстановке ночной тишины сопротивляемость интеллекта несомненно понижается, и у человека, стойкого днем, можно вырвать сознание ночью», — пишет бывший член коллегии ВЧК Другов.

По своему педантическому характеру этот человек с картонной душой оказался исключительно та-

лантливым тюремщиком. Дзержинский самолично входил во все мелочи своего тюремного ведомства. По опыту прекрасно знал быт тюрьмы. И теперь писал в кабинете ВЧК не лирический дневник о «клейких листочках» и «звоне кандалов», а «инструкцию для производства обысков»: «Обыск производить внезапно, сразу во всех камерах, и так, чтобы находящиеся в одной не могли предупредить других. Забирать всю письменную литературу, главным образом небольшие листки на папиросной бумаге и в виде писем. Искать тщательно на местах, где стоят параши, в оконных рамах, в штукатурке. Все забранные материалы аккуратно складывать в пакеты, надписывая на каждом фамилию владельца».

Разница стиля инструкции председателя ВЧК и дневника заключенного о тюремной тоске — налицо. Но именно этим людям с выкрашенной в один цвет душой, «попам революции», по слову Штирнера, всегда и были присущи тошнотные неживые сантименты. Это органически лежит в психологии терроризма. Робеспьер, Кутон, Марат, Сен-Жюст, все начали с приторной чувствительности и кончили морем крови.

«Теперь тишина», — писал в тюремном дневнике 13-го мая Дзержинский. — «Затуманенная луна смотрит равнодушно сверху. Не слышно шагов ни часового, ни жандарма-ключника, ни пения моей соседки, ни звона кандалов. Только время от времени откуда-то падает на жесть, прикрепленную к окну дождевая капля и слышен свист паровоза. Какая грусть проникает в душу! Грусть не заключенного; *там*, на воле, она тоже исподтишка появлялась и овладевала мной, это — грусть бытия, тоска по чему-то неуловимому, но необходимому для жизни, как воздух, как любовь...»

Странные грусть бытия и тоска по неуловимому

шли, оказывается, за Дзержинским всю жизнь, своей безпредметностью будучи, пожалуй, жутковаты. Одному из заключенных Дзержинский еще в тюрьме с иронической улыбкой говорил: «Эээ, воля, что там воля, это только за тюремной решеткой она кажется такой красивой».

«Тюрьме, как таковой» этот коммунистический поп в своем дневнике делал совсем странные признания. «Сегодня последний день года», — писал он 31-го декабря 1908 года, — «уж пятый раз встречаю я в тюрьме новый год. В тюрьме я созрел в муках одиночества и тоске по миру и по жизни. Здесь в тюрьме часто бывает плохо, бывает страшно. Но если бы мне пришлось начать заново жизнь, я бы ее начал так же. Это не голос обязанности, но *органическая* необходимость. Благодаря тюрьме дело стало для меня чем-то ощутимым, реальным, как ребенок для матери, — кровью и плотью, ребенком, который никогда предать не может и поэтому всегда доставляет мне радость. Тюрьма лишила меня многого, очень многого, не только нормальных условий жизни, без которых человек становится несчастным среди наиболее несчастных. Она лишила меня уменья плодотворной умственной работы... Но когда в сознании своем, в сердце своем я взвешиваю то, чего лишила и что дала мне тюрьма, — хотя я не мог бы определить, в чем объективный перевес, я твердо знаю, что не проклинаю ни судьбы моей, ни долгих лет тюрьмы. Это не игра мысли, не резонерство, это результат неудержимой жажды свободы и тоски по красоте и справедливости...»

И годы идут. «Красота и справедливость» приближаются. Полный огня и льда, председатель ВЧК Дзержинский с террором, уже отданным в его руки, не фальшивит. Дзержинского не пугает ничто, ибо все совершается им во имя истины, воплощенной в

программе коммунистической партии. Он не только казнит инакомыслящих, он официально декретирует институт заложников, а в методы открыто вводит провокацию, как «военную хитрость».

«Дзержинский — организатор ВЧК, сросшийся с ЧК, которая стала его воплощением», — пишет его заместитель в ВЧК Менжинский, — «Воспитанный не только на польской, но и на русской литературе, он стал несравненным психологом и использовал это для разгрома русской контр-революционной интеллигенции. Для того, чтобы работать в ЧК, вовсе не надо быть художественной натурой, любить искусство и природу. Но если бы у Дзержинского всего этого не было, то Дзержинский при всем его подпольном стаже никогда бы не достиг тех вершин чекистского искусства по разложению противника, которые делали его головой выше всех его сотрудников».

Карл Каутский называет эту революционную деятельность Дзержинского «вершиной мерзости». Князь П. А. Кропоткин пишет о декретах Дзержинского Ленину: «Неужели не нашлось среди вас никого, чтобы напомнить, что такие меры представляют возврат к худшему времени средневековья?» Увы, такова уж неумолимая диалектика всех революций, что начинают их всегда граф Мирабо и князь Кропоткин, а кончают Коло д-Эрбуа и Эйдук.

Тоскующий по «красоте и справедливости» Дзержинский так разъяснил сущность своей деятельности: «ЧК не суд, ЧК — защита революции, она не может считаться с тем, принесет ли она ущерб частным лицам, ЧК должна заботиться только об одном, о победе, и должна побеждать врага, даже если ея меч при этом попадает случайно на головы невинных».

А как, казалось бы по дневнику, арестант Феликс Дзержинский понимал весь ужас насильствен-

ной человеческой смерти! Ведь именно он писал на клочках папиросной бумаги: «Ночью с 8-го на 9-е казнен польский революционер Монтвилл. Уже днем его расковали и перевели в камеру для смертников. Во вторник 6-го происходил суд. У него не было никаких иллюзий, и еще 7-го он распрощался с нами через окно, когда мы гуляли. Его казнили в час ночи. Палач Егорка получил за это, по обыкновению, 50 рублей. Анархист К. сверху простучал мне, что «они решили не спать всю ночь», а жандарм сказал, что при одной мысли о казни «пронизывает дрожь и нельзя уснуть, и человек ворочается с боку на бок». И после этого ужасного преступления *ничто здесь не изменилось:* светлые солнечные дни, солдаты, жандармы, смена караулов, прогулки. Только в камерах стало тише, умолкли голоса поющих, многие ждут своей очереди...»

Заключенному частному учителю Феликсу Дзержинскому, оказывается, был доступен самый сердцевинный толстовский ужас перед фактом насильственной смерти человека, ужас, когда после этого «ничто не меняется»: те же светлые солнечные дни. Но когда в лубянских подвалах была пущена машина массового террора, над подвалами, в рабочем кабинете сидел председатель ВЧК Дзержинский, автор приказов об этих казнях и автор же лирического дневника.

Жаль, что этот ценный психологический документ в 1908 году оборвался приговором суда. 25-го октября (в будущую годовщину октябрьской революции) Дзержинского под конвоем повезли в Варшавскую судебную палату. «Три дня у меня было большое развлечение», — записал он в дневнике. — «Дело слушалось в судебной палате. Меня везли туда на извозчике, в наручных. Я был возбужден и обрадован, что вижу уличное движение, лица свободных людей, вывески, объявления, трамваи. Это

был — «коронный судъ», — с глуповатой иронией замечает Дзержинский. Да, это был не лубянский подвал. Тут был прокурор, защитники, эксперты, свидетели. И если прокурор требовал «для устрашения» покарать преступного пропагатора, частного учителя Феликса Дзержинского, то после речей защиты и более чем часового совещания судей, председательствующий объявил приговор, удививший самого Дзержинского. К тому ж Дзержинский добавляет, что «председательствующий читал приговор дрожащим от волнения голосом».

По нашим временам дрожать голосу было воистину не от чего: Дзержинский приговаривался к ссылке на поселение в Сибирь. «Я глядел на судей, на прокурора, на всех присутствующих в зале», — пишет он, — «на стены, на украшения с большим интересом, с большим удовольствием, радуясь, что я вижу свежие краски и другие, чем в тюрьме, лица. Я был как бы на торжестве, которое не имеет никакого касательства ко мне. Мои глаза обрели свежую пищу, и я был рад, я как бы весь превратился в зрение и мне хотелось сказать всем что-нибудь доброе, хорошее...»

Но в тюрьме Дзержинского вновь охватило беспокойство. Все казалось: по другому делу дадут каторгу. «Нет, я не обманываю себя», — писал он, — «каторги мне не миновать. Выдержу ли я? Когда я начинаю думать, что столько дней мне придется провести за тюремной решеткой, — день за днем, час за часом, мною овладевает тревога, и из груди вырывается крик: не смогу! И тем не менее я смогу, я должен смочь....»

Но каторги не дали. 21-го августа 1909 года Дзержинский, высокий, изсиня бледный, с остренькой бородкой, одетый в серый арестантский халат, в «коты» и серую суконную шапочку, подпоясанный

узким ремешком, с холщевой сумкой за плечами пошел опять с партией арестантов на поселение в Сибирь. Сотоварищи его говорят, что в этот момент Дзержинский напоминал им «вдохновенного странника, увлеченного своей мечтой». Возможно. Мечты у Дзержинского имелись.

11. КАНУН РЕВОЛЮЦИИ.

На поселении в Сибири Дзержинский пробыл недолго: всего семь дней. На восьмой он бежал из села Тасеевки. Побег был труден. И все ж, несмотря на тучи полицейских телеграмм с описанием примет опасного преступника, через два месяца Дзержинский «перевел дух» в Кракове, в Австрии.

Здесь он встал снова за партийную работу. Но в партии его ждали неприятности: «Социал-демократы Польши и Литвы» раскололись. Это были годы реакции, царское правительство наносило революционным партиям удар за ударом, и многим казалось, что революция умерла, не оправится и не встанет. В связи с этим возникшие среди социал-демократов Польши и Литвы острые разногласия разорвали партию на непримиримые крылья — правых и левых.

Во главе «левицы», поддерживавшей единение с русскими большевиками, встал Дзержинский. Обосновавшись в Кракове, он повел прежнюю нелегальную работу: издание «Червонного штандара» и «Газеты работничей», транспорты литературы, конспиративная связь с Варшавой. Наездами сам бывал в столице Польши, где в партийных кругах имя «Астронома» уже пользовалось большим авторитетом.

Правда, и в полиции очень хорошо был известен этот революционер, его усиленно разыскивали. И в 1912 году в Варшаве, на квартире социал-демократа Вакара, Дзержинский в шестой раз был схва-

чен и отвезен в столь знакомый ему X-й павильон Варшавской крепости. На этот раз, просидев тут двадцать месяцев, Дзержинский не оставил ни дневников, ни писем, ни поэм.

Накануне мировой войны, 29 апреля 1914 года Варшавский окружный суд слушал дело лишенного всех прав состояния ссыльно-поселенца Дзержинского и приговорил: «бывшего дворянина Ошмянского уезда Виленской губернии ссыльно-поселенца Феликса Дзержинского, 35 лет, обратить в каторжные работы на три года с правом воспользоваться милостями, указанными в ст. 18 XVIII отд. высочайшего указа 21 февраля 1913 года в порядке, изложенном в ст. 27 того же указа».

Вместе с другими приговоренными к каторге Дзержинский должен был отправиться в Великороссию, в известный суровостью режима Орловский централ. Но с отправкой не торопились, хоть и началась уже мировая война. Только готовясь немцам сдать Варшаву, царское правительство начало эвакуацию тюрем.

Дзержинского повезли в Орел. Едучи по железной дороге, арестанты переговаривались о событиях, рассказывали, что в Варшаве во время мобилизации рабочие будто бы прошли по улицам с лозунгом «Да здравствует революция!» Некоторые из ехавших питали далекие надежды, большинство ж находилось в полном упадке сил.

Пересыльный Лещинский, вспоминая эту поездку из Варшавы в Орел, рассказывает, что в дороге их плохо кормили, некоторые от недоедания падали в обморок, и часть арестованных потребовала у конвоя пищи и табака. Среди требовавших особой резкостью выделялся Дзержинский. Он даже вызвал начальника конвоя, и когда тот заявил, что в случае какого бы то ни было бунта прикажет стрелять, стоявший перед ним бледный, возбужденный Дзержинский

вдруг резким движением разорвал на себе рубаху и выставляя вперед голую грудь, закричал:

«— Можете стрелять! Сколько угодно! Не боимся ваших угроз! Стреляйте, если хотите быть палачами, мы от своих требований не откажемся!»

Эффектная сцена. Искренняя. Тишина. Прошла минута, другая. Дзержинский и начальник конвоя смотрели друг на друга. И вот, начальник конвоя повернулся, вышел из вагона и час спустя арестанты получили требуемую еду и махорку.

Это было в 1914 году.

Через четыре года, когда начальником всех российских тюрем оказался Дзержинский, другой пересыльный, социалист Карелин, разсказывает, как под давлением генерала Деникина, наступавшего на Харьков, чекисты везли арестованных, эвакуируя их в Москву.

Эвакуация производилась по приказанию Дзержинского. В поезде — Чрезвычайная комиссия, трибунал и разнообразные арестованные: мужики-мешочники, харьковские спекулянты, несколько профессоров-заложников, студенты и офицеры, обвиненные в контр-революции. Настроение ехавших было паническое, ибо вез их к Дзержинскому знаменитый чиновник террора, комендант харьковской чеки столяр Саенко. Где уж тут было предъявлять требованія! Быть бы живу!

В одну из ночей стали отпирать вагоны. На фоне освещенной двери вагона, в котором ехал Карелин, стоял сам Саенко со свитой, среди которой выделялся матрос Эдуард, славившийся тем, что в чеке, беззаботно смеясь и дружески разговаривая с заключенным, умел артистически «кончить» его выстрелом в затылок. Появление Саенко вызвало мертвую тишину. Арестованные затаили дыхание.

Обведя вагон мутным взглядом воспаленных глаз, всегда бывший под кокаином Саенко закричал:

«— Граждане, сдавайте часы, кольца, деньги! У кого найду хоть рубль — застрелю как собаку!»

Тишина сменилась возней: все отдали.

«— А теперь выходи трое!» — выкрикнул Саенко фамилии, — «да скорей, не тяни нищего за ...!»

Вызванные выпрыгнули. Дверь заперлась. Звон поворачиваемого в замке ключа, удаляющиеся шаги и несколько выстрелов: «очередных вывели в расход».

Так по пути к Дзержинскому почти каждую ночь по своему усмотрению приговаривал к смерти, вызывал и расстреливал арестованных чекист Саенко. Когда ж один из вызванных не пошел, уперся, схватился за решетку, за спинку скамьи, Саенко на глазах всех начал бить его кинжалом, и арестованного, окровавленного, кричащего диким животным криком, чекисты вытащили из вагона и расстреляли.

Есть известный предел героизму и эффектным жестам. На скотобойне их уже не бывает. Никому из арестованных в голову не пришло бы тогда разорвать перед Саенко рубаху и что-нибудь выкрикнуть. Да и бессмысленно: террор Дзержинского чужд сантиментальностям.

В самый разгар мировой войны будущий вождь красного террора прибыл в Орловский централ. В статейном списке, Дзержинского, каторжанина за № 22, в графе «следует ли в оковах» значилось: «в ножных кандалах», и в графе «требует ли особо-бдительного надзора» значилось: «требует».

Но на каторге, в этом суровом централе, с будущим вождем террора произошла какая-то странность. Сидевший здесь уже под коммунистическим замком социалист Григорий Аронсон в своих интересных воспоминаниях пишет: «Здесь отбывал каторгу сам Дзержинский, о котором поговаривали, будто он подлаживался к начальству и не особенно высоко держал знамя».

Что-ж, десятилетняя тюрьма не тетка, каторга

не шутка, не такие революционеры ломались в тюрьмах. Николай I-й Петропавловской крепостью сломал такого силача, как Михаил Бакунин. Александр II-ой Шлиссельбургом сломал фанатичнейшего Михаила Бейдемана. В тюрьме у Зубатова однажды дрогнул Гершуни. А более мелкие сламывались сотнями. И вполне возможно, что теперь уже сопричисленный к лику святых коммунистической церкви Дзержинский в канун революции также дрогнул в Орловском централе.

Пребывание знаменитого чекиста в этой царской тюрьме темно и двусмысленно. Несмотря на тяжкий каторжный режим, Дзержинский сам писал оттуда на волю, что живет в «сухой камере» и «лично я имею все, что здесь можно иметь». И уж совсем таинственную окраску получает факт, когда по докладу начальника тюрьмы Саата многократному преступнику, каторжанину Дзержинскому за «одобрительное поведение» сократили срок наказания. А если добавить, что тот же самый Саат с момента октябрьского переворота остался на службе у Дзержинского в той же должности начальника Орловского централа, служа верой и правдой своему старому знакомому, то дружба Саата и Дзержинского приобретает исключительно пикантный колорит.

Правда, «моральные высоты» коммунистического Олимпа вообще весьма невысоки, и в коммунистических Четьях-Минеях почти все биографии «святых борцов» нуждаются в хорошей корректуре. С этой точки зрения и все происшедшее с Дзержинским в Орловском централе не заслуживает исключительного внимания. Но все же, правды ради, следует отметить, что в канун революции в беспорочную революционную карьеру красного Торквемады вкралась какая-то жутковатая темнота.

Тем не менее, в марте 1915 года Дзержинский писал с каторги на волю так: «Я редко откликаюсь,

потому что тяжелая однообразная жизнь окрашивает мои настроения в слишком серые тона. И когда я думаю про тот ад, в котором вы все ныне живете, — мой собственный адик кажется таким маленьким, что просто не хочется писать про него, хотя он и надоедает подчас очень сильно... Когда я думаю о том, что сейчас творится, о повсеместном как будто сокрушении всех надежд, — я прихожу к выводу для себя, что жизнь зацветет тем скорее и сильнее, чем сильнее сейчас это сокрушение. И я стараюсь о резнях нынешних не думать, об их военных последствиях, я стараюсь смотреть вперед и видеть то, о чем сегодня никто не говорит...»

Худой как палка, громадного роста, с резкими чертами изможденного лица, с неестественно-расширенными зрачками прозрачных глаз, каторжанин Дзержинский, сидя в централе, старался думать не о шедшей внешней войне, а о той свирепой гражданской, которую он с товарищами, быть может, приведет на смену внешней.

И время шло. Гремела канонада мировой войны. Надвигалась русская революция.

В начале 1916 года Дзержинский уже отбыл сокращенный срок наказания, но Варшавский суд по новому делу приговорил его еще к шести годам каторжных работ, и Дзержинского перевели из Орла в Москву, в Бутырки, поместив в одиночку внутренней тюрьмы, прозванной «Сахалином».

В «Сахалине» лишенные прав арестанты, уголовные и политические, не носили ни имен, ни фамилий, обозначаясь номерами. Дзержинский был № 217. Почти год пробыл он здесь, совершенно отрезанный от внешнего мира. И когда в Петербурге в 1917 году начались первые волнения, когда вся Москва еще неуверенно ждала, как эти петербургские события развернутся, в Бутырках каторжанин

№ 217 не знал, не слыхал, не имел понятия о надвигающейся вплотную революции.

27-го февраля 1917 года победа революции определилась. В Бутырки освобождать арестантов поехали на грузовиках члены «Комитета помощи политическим заключенным», в большинстве женщины, охраняемые вооруженными... гимназистами.

Еще не веря в победу революции, начальник тюрьмы пытался отказать приехавшим в требовании освободить заключенных, но, убежденный телеграммами о событиях, наконец согласился и предоставил комитету в тюрьме полную свободу действий. Тогда растерялся комитет. Стало страшно, как бы с «Сахалина» вместе с политическими не выпустить уголовных. Но выход был найден: по предложению одного из членов комитета, знавшего, кто скрыт под номером 217, решили прежде всего освободить этого заключенного, чтобы он указал, кто на «Сахалине» политический и кто уголовный.

Члены комитета двинулись к «Сахалину». В коридоре внутренней тюрьмы поднялся небывалый шум, лязг, звон оружия гимназистов. И когда камеру № 217 отворили, все увидели среди камеры в запахнутом длинном халате, от этого казавшагося гигантским, худого как скелет, Дзержинского. От криков, шума, прихода неизвестных людей, отрезанный от мира Дзержинский был охвачен волнением. Он удивленно спрашивал: «Кто вы? Что такое? Что вам нужно?»

«— На улице революция, товарищ Дзержинский! Вы — свободны!»

Говорят, на лице Дзержинского выразилось непонимание и недоверие. Но надо было верить: его освобождали. Вместе с Дзержинским комитет пошел по коридорам, где возле отпертых камер Дзержинский указывал гимназистам, кто уголовный, кто политический. И в ту же ночь на грузовике, освещенном фа-

келами и охраняемом вооруженными гимназистами, Дзержинский выехал со двора Бутырской тюрьмы.

Ночь вместе с другими освобожденными он переспал в Московской Городской Думе, а на утро, еще в арестантском халате, произносил уже свою первую речь перед народом.

Это был февраль, праздник. В собравшейся вокруг Дзержинского радостной толпе, из которой Дзержинский через год многих уже расстрелял, пока что радостно кричали:

«— Слушайте! Слушайте! Говорит каторжанин Дзержинский!»

И Дзержинский говорил, заикаясь, спотыкаясь, торопясь, не улавливая собственной мысли. Даже у этой радостной, опьяненной толпы, готовой приветствовать всякий арестантский халат, будущий вождь террора не имел никакого успеха. Толпа Дзержинского не слушала. А сгрудившиеся вокруг него единомышленники боялись только одного: как бы у этого взволновавшегося больного скелета не хлынула горлом кровь.

12. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК.

Когда в февральскую революцию вся Россия безумствовала при имени Керенского, имя Дзержинского было еще никому неизвестно. Но меньше, чем через год Керенского позабыли, а имя Дзержинского как ужас гремело в стране, дойдя от Москвы до самых глухих захолустий России. Имевший некий революционный опыт Дантон говорил: «В революции всегда власть попадает в руки больших злодеев».

Каторжанин Дзержинский до революции не видел солнца и не знал жизни. Да он их и не хотел: солнце светило не над революционной страной, а жизнью жили непонятные ему люди. Но вот ослепительное мартовское солнце засветило над такой революцией, каких по территориальному и динамическому размаху не бывало. И даже тут: «февраль меня радует, но не удовлетворяет», — сказал освобожденный с каторги Дзержинский.

В большевицкой партии, где ковался заговор против России и свободы, этот человек с «хитрым подмигиванием» и «саркастической улыбкой» сразу занял видное место. В июльские дни, в момент схватки большевиков с правительством, он в первых рядах заговорщиков. В августе он делегирован на партийный съезд в Петербург, где этот огненный поляк с сектантски-вывихнутой душой уже избран в ЦК коммунистической партии. И в то время как большинство ЦК еще колебалось итти ли с Лениным на

октябрьский заговор и восстание, Дзержинский безоговорочно поддержал ленинское требование захвата власти.

Став главой и душой большевицкого Военно-Революционного комитета в Петрограде, Дзержинский принял в октябре активное участие и непосредственное руководство в свержении Временного Правительства. Слабо сопротивляясь, Временное Правительство пало. Вспыхнул «бессмысленный и беспощадный бунт». Россия взрывалась. Но не в России дело. С жалким остатком здоровых участков головного мозга, Ленин мог теперь развить бешеную деятельность, Россия отныне становилась только богатейшим складом пакли и керосина для мирового пожара, который разожгут Ленин, Дзержинский, Троцкий. И, опершись на русскую почву, Ленин начал осуществление идеи мирового октября.

Сплотившиеся вокруг Ленина октябрьские демагоги, авантюристы, спекулянты, всесветные шпионы, шахер-махеры с подмоченной биографией, преступники и душевно-больные довольно быстро распределяли государственные портфели, размещаясь в хоромах Кремля и в национализированных аристократических особняках. Инженер-купец Красин рвал промышленность; жуиры и ерники, как Луначарский, занялись театром, балетом, актрисами; Зиновьев и Троцкий напролом полезли к властной карьере; не вполне уравновешенного Чичерина успокоили ролью дипломата; Крестинского — финансами; Сталина — армией; а скелету с хитрым подмигиванием глаз, поместившемуся за ширмой на Лубянке, Дзержинскому, в этом хаосе октября отдали самое ценное: *жизни.*

Дзержинский принял кресло председателя ВЧК

Дзержинского не приходилось уговаривать взять на себя ответственность за кровь всероссийского террора. Его ближайший помощник, чекист Лацис сви-

детельствует: «Феликс Эдмундович *сам напросился* на работу по ВЧК».

Теперь «веселые чудовища» большевизма, жившие в непокидавшем их страхе народных восстаний, покушений, заговоров, участники авантюры во всемирном масштабе, могли уже спать спокойно. Они знали, кому вручена неограниченная власть над населением. На страже их жизней встало в достаточной мере «страшное чудовище» — «лев революции», в когти которого неприятно попасться.

«Дзержинский — облик суровый, но за суровостью этой таится огромная любовь к человечеству, и она-то и создала в нем эту неколебимую алмазную суровость», писал известный скандальными театральными похождениями пошляк Луначарский. «В Дзержинском всегда было много мечты, в нем глубочайшая любовь к людям и отвращение к насилию», писал прожженный циник Карл Радек. «Дзержинский с его тонкой душой и исключительной чуткостью ко всему окружающему, с его любовью к искусству и поэзии, этот тонкий и кристальный Дзержинский стал на суровый жесткий пост стража революции», писал алкоголик, захудалый провинциальный врач, ставший наркомздравом Семашко. Кто только восторженно не писал о «нежном и беспощадном, мягком и суровом, храбрейшем из храбрых вожде кожаных курток», верховном хранителе коммунистической революции, Ганецкие, Гуковские, Козловские, писала вся банда темных дельцов, облепивших пирог ленинской власти.

На фоне октября поднявшись над партией и страной, вождь ВЧК вырастал в жуткую и страшную фигуру, похожую на думающую гильотину. С созданием ВЧК фактическая власть переходила в руки Дзержинского. Кроме Дзержинского, никто не влиял на Ленина. «Ленин стал совсем невменяем, и если кто имеет на него влияние, так это только «товарищ Фе-

ликс», Дзержинский, еще больший фанатик и, в сущности, хитрая бестия, запугивающий Ленина контрреволюцией и тем, что она сметет нас всех и его в первую очередь. А Ленин, в этом я окончательно убедился, самый настоящий трус, дрожащий за свою шкуру. И Дзержинский играет на этой струнке», свидетельствует такой авторитет, как народный комиссар Л. Б. Красин.

На фоне террора силуэты Ленина и Дзержинского хорошо заштрихованы в воспоминаниях одного бывшего народного комиссара, «невозвращенца», в 1918-20 годах занимавшего видный пост среди головки большевиков:

«Фигуры Ленина и Дзержинского особенно запомнились мне на одном из заседаний совнаркома. Не помню, чтоб Дзержинский просидел когда-нибудь заседание целиком. Но он очень часто входил, молча садился и так же молча уходил среди заседания. Высокий, неопрятно одетый, в больших сапогах, грязной гимнастерке, Дзержинский в головке большевиков симпатией не пользовался. Он внушал к себе только страх, и страх этот ощущался даж среди наркомов.

У Дзержинского были неприятны прозрачные глаза. Он мог длительно «позабыть» их на каком-нибудь предмете или на человеке. Уставится и не сводит стеклянные с расширенными зрачками глаза. Этого взгляда побаивались многие.

Помню, в 1918 году Дзержинский пришел однажды на заседание совнаркома, где обсуждался вопрос о снабжении продовольствием железнодорожников. Он сел неподалеку от Ленина. Заседание было в достаточной степени скучным. Но время было крайне напряженное, были дни террора.

Обычно Ленин во время общих прений вел себя в достаточной мере бесцеремонно. Прений никогда не слушал. Во время прений ходил. Уходил. Приходил.

Подсаживался к кому-нибудь и, не стесняясь, громко разговаривал. И только к концу прений занимал свое обычное место и коротко говорил:

— Стало быть, товарищи, я полагаю, что этот вопрос надо решить так! — Далее следовало часто совершенно не связанное с прениями «ленинское» решение вопроса. Оно всегда тут же без возражений и принималось.

На заседаниях у Ленина была еще привычка переписываться короткими записками. В этот раз очередная записка пошла к Дзержинскому: «Сколько у нас в тюрьмах злостных контр-революционеров?» В ответ от Дзержинского к Ленину вернулась записка: «Около 1500». Ленин прочел, что-то хмыкнул, поставил возле цифры крест и передал ее обратно Дзержинскому.

Далее произошло странное. Дзержинский встал и, как обычно, ни на кого не глядя, вышел из заседания. Ни на записку, ни на уход Дзержинского никто не обратил никакого внимания. Заседание продолжалось. И только на другой день вся эта переписка вместе с ее финалом стала достоянием разговоров, шопотов, пожиманий плечами коммунистических сановников. Оказывается, Дзержинский всех этих «около 1500 злостных контр-революционеров» в ту же ночь расстрелял, ибо «крест» Ленина им был понят, как указание.

Разумеется, никаких шопотов, разговоров и качаний головами этот «крест» вождя и не вызвал бы, если б он действительно означал указание на расправу. Но, как мне говорила Фотиёва:

— Произошло недоразумение. Владимир Ильич вовсе не хотел расстрела. Дзержинский его не понял. Владимир Ильич обычно ставит на записке крест, как знак того, что он прочел и принял, так сказать, к сведению».

Так, по ошибочно поставленному «кресту» ушли

на тот свет «около 1500 человек». Разумеется, о «таком пустяке» ни с Лениным, ни с Дзержинским никто бы не осмелился говорить. Как Дзержинский, так и Ленин, могли чрезвычайно волноваться о продовольственном поезде, не дошедшем во-время до назначенной станции. Но казнь людей, даже случайная, не пробуждала в них никакого душевного движения. Гуманистические охи были «не департаментом» Ленина и Дзержинского.

В вопросах борьбы с «врагами народа» меры Дзержинского непререкаемы. В то время как первоначально предполагалось дать ВЧК функции «только предварительного следствия», Дзержинский настоял на обратном, на присвоении ВЧК права непосредственной расправы на основе только «классового правосознания и революционной совести». И право расстрела за ним было признано.

Дзержинский пленял головку октябрьских демагогов и преступников тем, что по их собственному выражению он «не растерял за всю свою жизнь ни одного атома своих социалистических убеждений и своей социалистической веры». Да, в кругу жадной до сытости своры Дзержинский был страшен именно тем, что в революции был искренен. «Презренный! Крови, вечно крови, вот что ему надо!» кричал Дантон о Марате.

Напросившийся на пост главы ВЧК, взявший в руки «разящий меч революции», Дзержинский так характеризовал свою задачу: «Я нахожусь в огне борьбы. Жизнь солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасать горящий дом. Некогда думать о своих и о себе. Работа и борьба адская. Но сердце мое в этой борьбе осталось живым, тем же самым, каким было и раньше. Все мое время, это — одно непрерывное действие, чтобы устоять на посту до конца. Я выдвинут на пост передовой линии огня, и моя воля: бороться и смотреть открытыми глазами на

всю опасность грозного положения и самому быть беспощадным, чтобы как верный сторожевой пес растерзать врагов».

Сильные слова. И страшные тем, что писавший их верил в свое октябрьское призвание. «Кто не помнит Лубянку № 11?» — пишет чекист Петерс. «В этом здании, в самой скромной маленькой комнате не больше двух квадратных сажен, в первые годы революции проходила жизнь товарища Дзержинского. В этой комнате он работал, здесь он спал, здесь же принимал посетителей. Простой американский письменный стол, старая ширма, за ширмой узкая железная кровать, — вот где проходила личная жизнь товарища Дзержинского. Домой к семье он ездил по большим праздникам. Работал он круглые сутки часто сам допрашивал арестованных. Усталый до последней степени, в больших охотничьих сапогах, в старой изношенной гимнастерке, он ел с того же стола, с которого ели все сотрудники чеки».

В этой «подвижнической» жизни, как оказывается, единственным развлечением Дзержинского являлись допросы видных арестованных. Так, в его кабинет в 1918 году привезли В. М. Пуришкевича. Пуришкевич больше часу оставался в кабинете председателя ВЧК, и это свидание произвело на Дзержинского, по его же признанию, большое впечатление. В лице Пуришкевича он столкнулся с идейным монархистом, который обосновывал свои убеждения своеобразной политической философией. Пуришкевич не отрицал, что принципы социализма, за которые борется Дзержинский, высоко-человечны, но горячо доказывал Дзержинскому, что современный уровень развития русского народа не допускает никакой формы правления, кроме монархии.

В кабинете Дзержинского перебывали политические противники всех оттенков, меньшевики, монархисты, народники, демократы, духовные лица.

Иногда это развлечение варьировалось, и Дзержинский появлялся на допросах людей, которых ВЧК старалась опутать сетями и сделать своими агентами-провокаторами. О такой встрече с Дзержинским рассказывает финн Седерхольм:

«На допросе, кроме Мессинга, в кабинете был еще высокий господин средних лет с болезненным лицом, очень скромно и корректно одетый в штатский костюм. Вероятно, заметив мой пристальный взгляд, он, чуть улыбнувшись, сказал:

— Не узнаете? Моя фамилия Дзержинский.

Маленькая бородка, которую он чуть пощипывал пальцами, еще больше подчеркивала болезненную худобу его лица, и он близоруко щурился от света лампы. Держался он чуть сгорбившись и длинными белыми пальцами свободной руки барабанил по столу.

Глухим голосом с мягкими ударениями Дзержинский сказал мне:

— Ложь вам не поможет. Она никому еще не помогала. Я случайно здесь, и товарищ Мессинг мне про вас говорил. Хочу на вас посмотреть. Сознавайтесь, и мы все ликвидируем тихо. Понимаете? Тихо.

— Меня вам не удастся ликвидировать тихо. Будет большой скандал. О моем расстреле будут кричать все газеты за границей.

Сверх всякого ожидания, Дзержинский улыбнулся, а Мессинг угодливо из симпатии к своему начальству засмеялся.

— Вы нас не поняли. Причем тут расстрел? Наоборот. Мы хотим дать вам возможность при известных условиях выйти на свободу. Вся эта история будет тихо ликвидирована. Понимаете? Хотите? — проговорил Дзержинский».

Сравнивая Дзержинского с террористами великой французской революции, Робеспьером и Маратом, надо сказать, что по интеллекту, кругозору Дзер-

жинский был, конечно, не чета «адвокату из Арраса», хотя и Робеспьер долгое время слыл человеком посредственным, а многие, знававшие его, за эту посредственность Робеспьера даже «презирали». Но кровавый глава коммунистического террора Дзержинский был, конечно, человеком куда меньшего формата. Он никогда не мог быть не только уж философом и вождем революции, каковую роль взял на на себя Ленин, но не мог быть даже и вождем собственной партии.

Самостоятельность мысли в Дзержинском отсутствовала. Его ум ограничен, знания брошюрочны, росшее в тюрьме мышление безжизненно и только сектантски-искривленная душа сильна тупой верой в непреложную святость партийной программы. До 1917 года за эту программу он отдавал свою жизнь, а с 1917 года начал отдавать чужие.

И все же в Дзержинском было нечто от Робеспьера. В какой-то плоскости они были «биологически сходными» экземплярами, родственными по душевному строю, по душевной конструкции. Та же поражающая узость жизнепонимания, та ж абсолютная вера в священность своих идей, та ж нетерпимость к инакомыслию.

«В нем было нечто от священника и сектанта, невыносимая претензия на непогрешимость, тщеславие узкой добродетели, тираническая привычка обо всем судить по мерке своего собственного сознания, а по отношению к индивидуальному страданию ужасающая сухость сердца человека, одержимого идеей, который кончает мало-по-малу тем, что смешивает свою личность с своей верой, интересы своего честолюбия с интересами своего дела», — характеризует Робеспьера Жорес.

А вот Дзержинский в характеристике Менжинского: «Дзержинский был не только великим террористом, но и великим чекистом. Он не был никогда рас-

слабленно-человечен. Он никогда не позволял своим личным качествам брать верх над собой при решении того или иного дела. Наказание, как таковое, он отметал принципиально, как буржуазный подход. На меры репрессии он смотрел только как на средство борьбы, причем все определялось данной политической обстановкой и перспективой дальнейшего развития революции. Презрительно относясь ко всякого рода крючкотворству и прокурорскому формализму, Дзержинский чрезвычайно чутко относился ко всякого рода жалобам на ЧК по существу. Для него важен был не тот или иной, сам по себе, человек, пострадавший зря, не сантиментальные соображения о пострадавшей человеческой личности, а то, что такое дело являлось явным доказательством несовершенства чекистского аппарата. Политика, а не человечность, как таковая, вот ключ его отношения к чекистской работе».

Мне думается, что эта «сухость сердца» Робеспьера и Дзержинского не благоприобретена, она законна у обоих, она выросла на природной душевной оскопленности. Дзержинский и Робеспьер не знали и не могли знать органических радостей жизни и опьянения ее наслаждениями. Их натурам все это было чуждо.

«Честный до пуританизма, щепетильный в делах, целомудренный, равнодушный к удовольствиям, суровый в принципах и педантичный в речах, с узким умом и холодной душой», — вот Робеспьер в характеристике Луи Мадлена. А вот Дзержинский в характеристике друзей-коммунистов: «В его усталом лице, вдохновенных глазах, острых красивых чертах лица чувствовался какой-то аскетизм. Для революционера он не признавал никакой личной жизни, ни любви к природе, ни к красоте, принося себя всецело на службу партии. В отношении к самому себе он применял это с полной строгостью и безоговорочностью...

Занимая ответственные государственные посты, он в личной жизни оставался образцом скромности. Не потому, что он хотел щеголять этим, а потому, что не мог жить иначе. Он оставался таким, каким был до революции в тюрьме и ссылке, потому, что ему было приятно быть именно таким».

Прекрасная и отчетливая характеристика! Бедность или даже игра в бедность были одинаковой *потребностью* Дзержинского и Робеспьера. У Ромэна Роллана на суде трибунала Дантон, великий жизнелюб, человек органических страстей, даже в революции словно искавший только чувственного наслаждения стремительностью ее бега и разряженностью ее воздуха, бросает о Робеспьере уничтожающие слова:

«Презренное лицемерие грозит заразить весь народ... Достаточно, чтобы человек обладал скверным желудком и атрофированными чувствами, достаточно, чтобы он питался небольшим куском сыра и спал в узкой кровати, чтобы вы называли его «неподкупным», и прозвище это освобождает его и от мужества и от ума. Я презираю эти немощные добродетели!»

Но разве не похожи «кусок сыра» и «узкая кровать» Робеспьера на «кусок конины» и «кровать за ширмой» Дзержинского?

Дзержинский жил только в ВЧК, только в терроре, другой жизни у него не было. По собственному гордому признанию, Дзержинский в годы революции «ни разу не побывал в театре и кинематографе, если не считать просмотра фильма о похоронах Ильича». Это даже много аскетичнее Робеспьера, ибо глава Конвента, любя трагические декламации, вместе с своей возлюбленной, Элеонорой Дюпле, посещал все же классические представления во «Французском Театре».

Для двух правителей-террористов, Робеспьера и Дзержинского, при всей их разнице обще и то,

что оба были чуждыми народу белоручками. Людям из масс, часто близким к земле, даже при жестокости не чужда отходчивость и усталость. Для того ж, чтоб выдержать роль «главы террора», нужны наживные, абстрактные представления, некая наследственная «культура» и наследственная психическая утонченность. Недаром сменивший Дзержинского на посту вождя ВЧК, столь же родовитый поляк Менжинский писал о своем предшественнике, как о «несравненном психологе» и «моральном таланте»: «Ф. Э. Дзержинский воздействовал не только ужасом, но и глубоким пониманием всех зигзагов человеческой души. Тот, кто стал черствым, — не годится больше для работы в ЧК, говорил Дзержинский. Черствый чекист был в его глазах негодным не из-за жестокости, а как своего рода заржавленный инструмент, как человек, ставший неспособным к такой психологической работе».

Небольшой, угловатый человек с крикливым голосом и любовью к искусственным позам, весь в отвлеченных мечтах, Максимилиан де-Робеспьер, сын честного уважаемаго семейства, и вождь обрызганных кровью кожаных курток Дзержинский пришли в революцию *сверху*, они только «хлопотали по поводу народа».

«Принципом демократического правительства является добродетель, а средством, пока она не установится, — террор», говорил в конце 93-го года Робеспьер, желавший гильотиной переделать французов в общество, полное добродетели.

«Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов, является методом выработки коммунистического человека из материала капиталистической эпохи», — вот как понимал сущность своего террора Дзержинский.

И увлеченные этой весьма проблематической «любовью к дальнему» ни Робеспьер, ни Дзержин-

ский не хотели замечать живых трагедий, разыгрываемых 26-ю миллионами французов и 150-ю миллионами русских. Они не видели их. Им даже в голову не приходило шарахнуться от террора, как шарахнулся от него Дантон, ибо для этого надо было иметь человеческое сердце. Правда, сердца этих террористов были разны. В то время как бесстрастная логика и отвлеченные выводы утопавшего в идеях Робеспьера делали его сухим и безжизненным, Дзержинский горел, он был воспламенен изуверством ненависти, походя гораздо больше на Марата. Любовь Дзержинского к революции, как и у Марата, была порождена ненавистью.

Еще юношей Дзержинский писал из тюрьмы: «Я не умею наполовину ненавидеть. Я не умею отдать только половину души. Я могу отдать всю душу или ничего не отдать». Этой ненавистью Дзержинский и был одержим. В ребенке она жила в желании, надев «шапку-невидимку», перебить всех москалей, в юноше — в тюремной клятве «мстить», в председателе ВЧК — в жуткой беспощадности расправы.

«Я революционер, а не дикий зверь. Обратитесь к Марату», говорил Дантон. Охваченный ненавистью ко всему в мире, Марат был живым кровавым бредом революции. В нем, как и в Дзержинском, революционный энтузиазм дошел до конвульсий. И они оба, Дзержинский и Марат, олицетворяли в себе смутные кровавые инстинкты человеческой черни. Это не философические размышления Робеспьера. Это — нож, револьвер, пулемет.

«Марат был вечно воспламенен. Марат был непрерывным взрывом», говорит Ламартин. И словно списывая у Ламартина, Троцкий пишет: «Дзержинский был человеком взрывчатой страсти. Его энергия поддерживалась в напряжении постоянными электрическими разрядками. По каждому вопросу, даже второстепенному, он загорался, тонкие ноздри дрожали,

глаза искрились, голос напрягался, нередко доходя до срыва. Несмотря на высокую нервную нагрузку, он не знал периодов упадка или апатии, он как бы всегда находился в состоянии высшей мобилизации, и Ленин сравнивал его с горячим конем».

То-есть ни дать, ни взять «друг народа», с той только разницей, что теоретик французской резни был одарен ядом и злобой памфлетиста, и этот яд лился потоком, отравляя всю Францию, пока не наткнулся на кинжал Шарлотты Корде. Дзержинский же не обладал никакими талантами французского пособника плахи — ни талантом памфлетиста, ни оратора. Глава чекизма, первый предложивший старую формулу — «дерзайте быть страшными, иль вы погибнете», — был опустошающе бездарен в речах, а в статьях до зевоты, до одури беспомощен и скучен.

Но всякая революция находит своих террористов. В любом обществе их множество бродит в «безработном» состоянии. И октябрьская революция подобрала своего. Арифметически председателя ВЧК Дзержинского можно определить так: это был на одну треть Робеспьер (без его ума) и на две трети Марат (без его дарованья). Для исторической фигуры смесь не особенно увлекательная. Впрочем, принадлежность людей к истории не часто измеряется их талантами.

13. *ЧИНОВНИКИ ТЕРРОРА.*

В то время как в послеоктябрьском хаосе большинство отраслей государственного управления пребывало в состоянии полной разрухи, карательный аппарат нового государства, коммунистическая тайная полиция организовалась с необычайной стремительностью.

Этим Кремль был всецело обязан вождю ВЧК.

Не обладавший никакими талантами многолетний тюремный сиделец Дзержинский, как начальник тайной полиции, оказался незаменимым. В каторжанине-революционере открылось перворазрядное полицейское дарование, соединенное к тому же с чудовищной работоспособностью.

Стоя во главе ВЧК, Дзержинский не только террором превратил всю Россию в один сплошной чекистский подвал, он в лице своего учреждения создал еще и небывалую в мире академию шпионажа и провокации, где сплелся былой опыт царских охранных отделений со всей азефовщиной революционного подполья.

Дзержинский превзошел бессмертного шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа. Политическая полиция Наполеона III-го должна бы была завидовать организации ВЧК. Террором, шпионажем, доносами Дзержинский отнял у страны возможность не только говорить, но думать, чувствовать, ненавидеть.

Историограф ВЧК Лацис прав, когда пишет с

восторгом: «Счастьем нашей революции было назначение председателем ВЧК Ф. Э. Дзержинского. Организация ВЧК и ее работа настолько тесно связаны с его именем, что нельзя говорить о них отдельно. Товарищ Дзержинский создал ВЧК, он ее организовал, он ее преобразовал. Волеустремленный человек немедленного действия не отступающий перед препятствиями, подчиняющий все интересам революции, забывающий себя, вот каким товарищ Дзержинский стоял долгие годы на этом посту, обрызганном кровью».

«Говорить о Дзержинском-чекисте, это значит писать историю ВЧК», подтверждает Менжинский.

В декабре 1917 года в Петербурге, на Гороховой 2, в помещении градоначальства, вся канцелярия ВЧК была еще в портфеле Ф. Дзержинского, а касса в кармане казначея Якова Петерса. Дзержинский еще сам ездил на обыски и аресты. Но в начале 1918 года в Москве, где Дзержинский под свою опричнину занял на Лубянке грандиозные дома страховых обществ с обширнейшими подвалами и погребами — «Якорь», «Саламандра», «Россия» — ВЧК превратилась уже в мощную кровавую организацию, которая в процессе революции захватила безоговорочную власть над страной.

В 1918 году руководимая Дзержинским ВЧК была уже государством в государстве, и Лубянка фактически властвовала над Кремлем. Это был коммунистический «центр центров».

Если сопоставить различные эпохи террора, можно удивляться, насколько терроризм в своих методах не дал никакого «прогресса». Еще у Торквемады были концентрационные лагери под названием «домов покаяния», истребление неугодной литературы, трибуналы. В инструкциях по подбору членов инквизиционных трибуналов писалось то же, что писал Дзержинский в инструкциях по подбору сво-

их сотрудников. Там указывалось, что в инквизиционные трибуналы надо назначать людей «чистой нравственности, магистров или баккалавров богословия». А у Дзержинского: «карательный аппарат революционной власти должен представлять кристально-чистый институт народно-революционных судей» и чекисты должны «заботливо выбираться из состава партии и состоять из идейно-чистых и в своем прошлом незапятнанных людей».

Есть разсказы, как Дзержинский уговаривал «кристальных коммунистов» итти в ВЧК. Он понимал, конечно, что неприятно производить обыски, допрашивать, видеть слезы, подписывать смертные приговоры и при случае самому расстреливать, но ведь все делается во имя коммунизма и во славу его? Всякое отталкивание от ЧК в Дзержинском вызывало ярость, и именно он выбросил знаменитый лозунг: «каждый коммунист должен быть чекистом».

Дзержинский был фанатик — да! Но не надо предполагать, что в его фанатизме была хоть какая-нибудь доля наивности, как это часто бывает. Практик революции, прошедший бесовскую школу подполья, грязи, тюрем Дзержинский, разумеется, не верил в существование пролетарских ангелов в образе чекистов, исправляющих заблудших сынов буржуазии.

Больше чем фанатиком, Дзержинский был — «хитрой бестией». И речи о «кристальной чистоте» чекистов оставлялись, разумеется, для истории, а жизнь шла жизнью. Подбор членов коллегии ВЧК, начальников Особых Отделов и чекистов-следователей Дзержинский начал не с госпожи Крупской и не с барышни Ульяновой, а совсем с других, примитивно-кровожадных, цинических, бесхребетных низовых партийных фигур всяческих проходимцев. Калейдоскоп имен — Петерс, Лацис, Эйдук, Ягода, Агранов, Атарбеков, Бела Кун, Саенко, Фельдман, Вихман, Бо-

кий, — говорит о чем угодно, но только не о «жажде бесклассового общества».

«ВЧК — лучшее, что дала партия», утверждал Дзержинский. Если это лучшее, то где же худшее? Когда-то Бакунин советовал французам при захвате революционной власти «разбудить в народе дьявола» и «разнуздать самые дурные страсти». Этого ж мнения был Нечаев. Так действовал в 1917 году и Дзержинский.

Дзержинский взломал общественную преисподню, выпустив в ВЧК армию патологических и уголовных субъектов. Он прекрасно понимал жуткую силу своей армии. Но желая расстрелами в затылок создавать немедленный коммунизм, Дзержинский уже в 1918 году с стремительностью раскинул по необъятной России кровавую сеть чрезвычаек: губернские, уездные, городские, волостные, сельские, транспортные, фронтовые, железнодорожные, фабричные, прибавив к ним «военно-революционные трибуналы», «особые отделы», «чрезвычайные штабы», «карательные отряды».

Из взломанного «вооруженным сумасшедшим» социального подпола в эту сеть хлынула армия чудовищ садизма, кунсткамера, годная для криминалиста и психопатолога. С их помощью Дзержинский превратил Россию в подвал чеки и, развивая идеологию террора в журналах своего ведомства «Еженедельник ВЧК», «Красный Меч», «Красный Террор», Дзержинский руками этой жуткой сволочи стал защищать коммунистическую революцию.

Дантонисты говаривали о Робеспьере, что если б ему и Сен-Жюсту предоставить свободу действий, то «от Франции осталась бы пустыня с какими-нибудь двадцатью монахами». К этому во главе своей армии чекистов шел и Дзержинский, веривший в террор как в принцип, в террор как систему.

Вглядеться в облик чекистов, окужавших Дзер-

жинского в борьбе за идеалы мирового октября, — стоит. Эти бойцы коммунизма должны быть особенно интересны, ибо они ведь, по слову Дзержинского, «бойцы передовой линии огня».

Первыми неизменными помощниками Дзержинского в ВЧК были два знаменитых латыша, члены коллегии ВЧК Петерс и Лацис.

Человек с гривой черных волос, вдавленным провaленным носом, с челюстью бульдога, большим узкогубым ртом и щелями мутных глаз, Яков Петерс — правая рука Дзержинского. Кто он, этот кровавый, жадный до денег и власти человек? Зловонный цветок большевицкого подполья, этот чекистский Спарафучиле, — человек без биографии, латыш-проходимец, несвязанный ни с Россией, ни с русским народом.

Когда в 1917 году увешанный маузерами, в чекистской форме, кожаной куртке, Петерс появился в Петербургском Совете рабочих депутатов, где были еще социалисты, последние встретили его бешеными криками: «Охранник!» Но Петерс не смутился: «Я горжусь быть охранником трудящихся», отвечал он с наглостью. А всего через два года, после многих кровавых бань, данных Петерсом русскому пролетариату, этот проходимец, прибыв в Тамбовскую губернию усмирять крестьян, взволнованных коммунистическими поборами, отдал краткий приказ: «Провести к семьям восставших беспощадный красный террор, арестовывать в семьях всех с 18-летнего возраста, не считаясь с полом, и если будут продолжаться волнения, — расстреливать их, как заложников, а села обложить чрезвычайными контрибуциями, за неисполнение которых конфисковывать земли и все имущество».

Вот он — «охранник трудящихся».

Октябрьская революция сделала этого проходимца одной из всесильных фигур тайной коммунисти-

ческой полиции. Как всякий вельможа и сановник, Петерс страдает, конечно, зудом к некоторой позе. Поэтому не только у Троцкого, но и у Петерса есть свои «исторические» фразы. Петерс сказал: «Каждому революционеру ясно, что революция в шелковых перчатках не делается». Петерс угрожал: «Всякая попытка контр-революции поднять голову встретит такую расправу, перед которой побледнеет все, что понимается под красным террором».

Эта правая рука Дзержинского, Петерс, палач десятка городов России, вписал самые кровавые страницы в летопись коммунистического террора. Он залил кровью Дон, Петербург, Киев, он обезлюдил расстрелами Кронштадт, он легендарно зверствовал в Тамбове.

Вторым членом коллегии ВЧК, левой рукой Дзержинского. был Мартин Судрабс, латыш, прогремевший по России под псевдонимом Лацис. Этот люмпен-пролетарий, высший чиновник террора, как и Петерс, вышел из-под половиц большевицкого подполья, где ходил под кличкой «Дядя». В своей кровожадности он соперничает с Петерсом, причем этот малограмотный урод страдает страстью не только к позе, но и к письменности.

При своем вступлении в ВЧК в 1917 году Лацис, одновременно ставший «товарищем министра внутренних дел», о своих государственных задачах заявил так: «Все перевернуть вверх ногами!» И философию своего террора этот убийца формулировал с готтентотской простотой: «ВЧК — самая грязная работа революции. Это — игра головами. При правильной работе полетят головы контр-революционеров, но при неверном подходе к делу мы можем проиграть свои головы... Установившиеся обычаи войны, выраженные в разных конвенциях, по которым пленные не расстреливаются и прочее, все это только смешно:

вырезать всех раненых в боях против тебя — вот закон гражданской войны».

И следуя этому закону, Лацис залил кровью Великороссию и Украину. «ЧК — это не следственная комиссия, не суд и не трибунал. Это боевой орган, действующий по внутреннему фронту. Он не судит врага, а разит. Не милует, а испепеляет всякого... Не ищите на следствии материала и доказательств того, что обвиняемый действовал словом и делом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, — к какому классу он принадлежит, какого образования, воспитания, происхождения или профессии. Эти вопросы должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора». А при обсуждении в Москве вопроса о прерогативах ЧК эти террористические положения Лациса один из чекистов, Мизикин, еще более упростил: «К чему даже эти вопросы о происхождении, образовании. Я пройду к нему на кухню и загляну в горшок, если есть мясо — враг народа, к стенке!»

Третьим членом коллегии ВЧК при Дзержинском был латыш Александр Эйдук, о палаческой деятельности которого даже коммунисты отзываются с отвращением. Ненормально развитой широкий лоб, белесые глаза, бледное лицо, перебитая рука, весь вид Эйдука вполне отвечал его страшной репутации. Этот высший чиновник террора особенно хорош в описании бывшего тогпреда в Латвии Г. А. Соломона, к которому в Москве Эйдук был приставлен Дзержинским:

«Как-то Эйдук засиделся у меня до 12-ти ночи. Было что-то спешное. Мы сидели у письменного стола. Вдруг с Лубянки донеслось: «Заводи машину!» И вслед затем загудел мотор грузовика. Эйдук застыл на полуслове. Глаза его зажмурились как-бы в сладкой истоме и каким-то нежным и томным голосом он удовлетворенно произнес, взглянув на меня:

— Наши работают.

— Кто? Что такое?

— Наши. На Лубянке... — ответил Эйдук, сделав указательным пальцем правой руки движение, как бы поднимая и спуская курок револьвера. — Разве вы не знали? — с удивлением спросил он. — Ведь каждый вечер в это время «выводят в расход».

— Какой ужас, — не удержался я.

— Нет... хорошо... — томно, с наслаждением в голосе, точно маньяк в сексуальном экстазе произнес Эйдук, — это кровь полирует...».

От Петерса, Лациса, Эйдука, этих трех примитивных латышей, начальник Особого Отдела ВЧК доктор М. С. Кедров отличался не по своему зверству, а по интеллигентности и утонченности. Высокий брюнет с матовым цветом кожи, тонкими чертами умного лица, с больным взглядом отсутствующих глаз, этот медик, юрист, музыкант, ставший начальником Особого Отдела ВЧК, на своем посту проявил совершенно чудовищную изощренность садизма.

Сын известного московского нотариуса, человек богатый, Михаил Кедров окончил ярославский Демидовский лицей, а позднее в Бернском и Лозаннском университетах изучал медицину. В Ярославле он появлялся в великолепно сшитом мундире, при шпаге, — красивый студент-белоподкладочник. Впрочем, главным занятием студента Кедрова была музыка, он готовился стать пианистом-виртуозом. Но вдруг вместо Бетховена студент неожиданно увлекся большевизмом. Мундир сменился блузой под пролетария, Бетховена и Баха заменил Маркс. И все бы было ничего, если б Кедров уже рано не начал обнаруживать признаков душевного заболевания.

Над ним тяготела наследственность: старший брат, скрипач, умер психически-больным в костромской психиатрической больнице. Странности Кедрова первоначально обнаруживались в охватившей его

патологической жадности. Эта жадность доходила до того, что богатый человек Кедров лишал своих детей пищи. Он так точно распределял «количество калорий» между ними, что дети кричали и плакали, а жена умоляла друзей повлиять на мужа, чтобы он прекратил эти «научные опыты».

К моменту октябрьской революции Кедров был, вероятно, уже совсем психически-больным человеком. Тем не менее, или может быть именно поэтому, он стал одним из высших чиновников террора в ведомстве Дзержинского. Здесь М. Кедрову принадлежит введение пресловутых «семи категорий», на которые делились все арестованные: седьмая категория означала немедленный расстрел, шестая — смертники второй очереди, пятая — третьей. Так же аккуратно, как он делил «порции» меж детьми, Кедров делил теперь арестованных перед расстрелом.

В 1919 году Дзержинский отправил доктора М. С. Кедрова усмирять север России. И здесь в Архангельске полупомешанный садист в роли начальника Особого Отдела ВЧК дал волю своим кровавым инстинктам. Обращая север России к коммунизму, хорошо знающий историю Кедров пародировал Нантские убийства. Вблизи Холмогор он сажает на баржу более 1000 человек обвиненных в контр-революции и приказывает открыть по ним пулеметный огонь. Эту казнь доктор Михаил Кедров наблюдает съ берега.

Больная фантазия биологического родственника маркиза де Сада и в то же время всемогущего чиновника террора, в руки которого были отданы сотни тысяч людей, дошла до того, что Кедров заваливал тюрьмы детьми 8-14-летнего возраста, как «шпионами буржуазии». И по приказу этого же охваченного сексуальным безумием человека чекисты под предлогом все той же классовой борьбы с шпионажем бур-

жуазных детей расстреливали детей, шедших в гимназию.

Правда, утонченная натура эстета Кедрова износилась быстро на этой «мокрой» работе. Пианист-виртуоз, чьей игрой на рояле восторгался Ленин — («Надя, как Кедров играет! Ах, как он играет!») — Кедров был, конечно, не так толстокож, как люмпен-пролетарии Эйдук и Лацис, которым убийства «полируют кровь» в течение восемнадцати лет.

После фантастически-кровавого покорения севера России карьера Кедрова внезапно оборвалась. Говорят, что с кровавых подмостков Кедров сошел драматически, будучи, как душевно-больной, помещен в сумасшедший дом. Но со временем он видимо оправился, ибо на XX съезде партии Хрущев рассказал, как Лаврентий Берия арестовал, пытал и убил Кедрова, как «низкого изменника Родине».

Из тюрьмы на Лубянке Кедров писал в ЦК умоляющие письма: «Мои мучения дошли до предела. Мое здоровье сломлено... Беспредельная боль и горечь переполняют мое сердце». Но, поссорившись, гангстеры обычно друг к другу беспощадны. И Берия пустил Кедрову пулю в затылок. Туда Кедрову была и дорога!

В то время как на Севере России действовал Михаил Кедров, на Кавказе также действовал славившийся потрясающими массовыми расстрелами полномочный представитель Дзержинского, «уполпред ЧК» Георгий Атарбеков. Этот кавказец, прозванный в народе «рыжий чекист», по своей жестокости выделялся даже среди чекистов. Он лично убил своего секретаря у себя в кабинете. В Пятигорске с отрядом чекистов он шашками зарубил около ста схваченных им заложников, среди которых известного генерала Рузского сам зарезал кинжалом.

В Армавире, при отступлении красной армии, только чтобы «хлопнуть дверью», Атарбеков расстре-

лял несколько тысяч заложников, находившихся в подвалах армавирской чека. И в том же Армавире, задержав на вокзале эшелон с ехавшими грузинами-офицерами, врачами, сестрами милосердия, возвращавшимися после войны к себе на родину, Атарбеков, несмотря на то, что эшелон имел пропуск советского правительства, приказал вывести всех ехавших на площадь перед вокзалом и из пулеметов расстрелял поголовно всех.

В Екатеринодаре, когда туда подступил десантный отряд генерала Врангеля, Атарбеков в отместку расстрелял камеры екатеринодарской чеки, в которых было до двух тысяч заключенных, в громадном большинстве ни в чем неповинных.

На Кавказе из города в город, из аула в аул, как кровавые легенды, плыла молва о делах «рыжего чекиста». «Усмиритель Северного Кавказа» Атарбеков избивал население, как на бойне скот.

Его жестокость вызвала даже протесты в Москве среди рядовых коммунистов. Атарбеков получал неоднократно предупреждения от ЦК партии, но эти попытки как-то вмешаться в «деятельность» Атарбекова вызывали ярость Дзержинского: председатель ВЧК не терпел вмешательства в работу своего ведомства.

Когда в 1925 году, став наркомпочтелем Закавказья, Атарбеков, летевший вместе с чекистами А. Мясникьяном и С. Могилевским, разбился при падении аэроплана, коммунистическая печать писала о нем: «Его жизнь была полна сплошного героизма, борьбы, успехов и побед».

Атарбеков на юге. Кедров на севере. В садизме с ними соперничал действовавший на Украине щупленький человечек с подергивающимся лицом маньяка и блестящими белками бегающих глаз, знаменитый чекист, малограмотный столяр Саенко.

Наиболее жуткие страницы в книгу былей украинского террора вписал именно он.

В харьковской тюрьме одно имя «Саенко» наводило на заключенных мертвенный ужас. «Саенко в тюрьме», и этого достаточно, чтобы в предсмертном страхе замерли заключенные. Трудно дать хотя бы приблизительную картину зверств этого щупленького человечка с подергивающимся лицом.

В 1919 году террор отдал в его руки тысячи людей, повинных только в своем происхождении, социальном положении, культурности, уме и некоммунистических убеждениях. Тех, кого облюбовывал Саенко для казни, он убивал шашкой или расстреливал из нагана на глазах заключенных.

Один из заключенных рассказывает, как Саенко входил в тюрьму, как осматривал их, обычно обещая «подбрить», как уводил из камер на «допросы» и с этих «допросов» возвращались уже не люди, а израненные тени. «Допросов» Саенки многие не выдерживали. Излюбленный им метод «допросов» был таков, что ему бы, вероятно, позавидовали пламенные мечты садистов Кюртена, Гроссмана, Хармана в свое время потрясших своими процессами мировое общественное мнение.

Саенко на «допросах» вонзал шашку на сантиметр в тело полуголого допрашиваемого и начинал вращать ее в ране, при чем «допросы» были публичными в присутствии начальника Особого Отдела Якимовича и следователя Любарского. Увы, это не средневековые легенды, не воспаленные «художественные» вымыслы Сада и Гюисманса, это террор Дзержинского, это его система, разбуженным в народе дьяволом охранить диктатуру коммунистической партии. Недаром же, после шашечных расправ во дворе тюрьмы, окровавленный Саенко входил в камеры, обращаясь к заключенным с «классовым» обоснованием своего террора: «Видите эту кровь? То же

получит каждый, кто пойдет против меня и рабоче-крестьянской власти!»

По занятии Харькова белыми, во дворе харьковской тюрьмы, в бывшей кухне, обращенной Саенко в застенок, кроме прочих орудий «допроса», были найдены пудовые гири. Пол кухни был покрыт соломой, густо пропитанной кровью, стены испещрены пулевыми выбоинами, окруженными брызгами крови, частицами мозга, обрывками черепной кожи с волосами. Вскрытие вырытых 107 трупов обнаружило переломы ребер, перебитые голени, отрубленные головы, прижигания раскаленным железом. У одного из трупов голова оказалась сплющенной в плоский круг, что, вероятно, было произведено пудовыми гирями, а некоторые вырытые трупы были в таком виде, что харьковские врачи не могли понять, что с ними делал Саенко.

Комендант чеки Саенко был бы прекрасным заплечным мастером времен дыб и испанских сапог. Но патологический столяр и в двадцатом веке пригодился Дзержинскому, хотя после того как этот щупленький человечек с блестящими белками и подергивающимся лицом от своих неистовств сошел с ума, чекисты просто «шлепнули» его: вывели в расход. Саенко сделал Дзержинскому дело. На посту коменданта чеки его место занял новый, «здоровый» чиновник террора.

Саенок вовсе не так мало в любом обществе. Дзержинский при коммунистической диктатуре имел их в изобилии. Не совсем схож, но не менее звероподобен Шульман, комендант грузинской чека, слывший в Тифлисе под прозвищем «коменданта смерти». О нем рассказал бывший чекист Думбадзе.

Низкорослый, полный, с толстыми короткими ногами и особенно толстыми икрами, на которые сапоги налезали с трудом, с красным одутловатым лицом, опущенными книзу рыжими усами и такими же ры-

жими свисающими бровями, «комендант смерти» Шульман обладал голубыми глазами. У себя в комендатуре, в спокойном состоянии, его глаза поражали всякого своей безжизненностью. Но во время казней эти глаза становились ужасны тем, что в них не было ничего человеческого, это были глаза бешеного зверя, для которого не было никаких преград, ни моральных, ни физических.

Шульман был страшен не только заключенным, но даже и чиновникам террора. Перед казнями чтоб создать в себе необходимое кровожадное настроение, он наркотизировал себя всеми возможными способами. И, дойдя до полного умопомрачения, убивал обреченных.

Вот одно из описаний расправы Шульмана, на чекистском жаргоне называемой «шлепалкой»:

«В глухую ночь в каменных коридорах подвальной тюрьмы, бряцая оружием, появился комендант чека Шульман с нарядом красноармейцев. Они стали выводить из камер обреченных. Жалкие, полуодетые, несчастные автоматически исполняли распоряжения палачей. Точно взвинчивая себя, Шульман обращался с осужденными подчеркнуто грубо. Вывели 118 человек, подлежащих казни. Всех повели во внутренний двор ЧК, где их ждало несколько грузовиков. Палачи привычно и быстро снимали с жертв остатки одежды, связывали им руки и вбрасывали в грузовики. Грузовики тронулись... На месте казни, оцепленном чекистами, были заранее заготовлены ямы. Приговоренных выстроили шеренгами. Шульман и его помощник с наганом в руках пошли вдоль шеренги, стреляя в лоб приговоренным, время от времени останавливаясь, чтобы зарядить револьвер. Не все покорно подставляли головы. Многие бились, пытались отступить, плакали, кричали, просили пощады. Иногда пуля Шульмана только ранила их, раненых сейчас же добивали чекисты выстрелами и штыками,

а тем временем убитых сбрасывали в яму. Вся эта сцена человеческой бойни продолжалась не менее трех часов».

Меж коммунистами Дзержинским и Шульманом, конечно, есть разница. Но в сущности эта разница только «конституций». Разумеется, лично, физически убивать людей так, как убивал Шульман, Дзержинский не мог. Это подтверждает характерный для состояния нервной системы председателя ВЧК рассказ его бывшего помощника левого эс-эра Александровича.

В 1918 году, когда отряды чекистов состояли сплошь из матросов, один такой матрос вошел в кабинет Дзержинского в совершенно пьяном виде. Аскет Дзержинский сделал ему замечание, но пьяный внезапно обложил Дзержинского, вспомнив всех его родителей. Дзержинский затрясся от злобы, не помня себя выхватил револьвер и, выстрелив, уложил матроса на месте. Но тут же с Дзержинским случился припадок падучей.

Для непосредственного убийства Дзержинский был, конечно, слишком «ломок». Для этого необходимы те «рукастые» коммунисты, которых требовал найти для защиты своей диктатуры Ленин. Их то и возглавил «хрупкий» Дзержинский в своем лубянском кабинете росчерком пера убивавший десятки тысяч людей.

Не слыхавший о Марксе Шульман и читавший Маркса Дзержинский были механизмами одного и того же террористического конвейера, на который диктатурой коммунистической партии был брошен русский народ.

Трудно сказать, какой тип чиновников террора вызывает большее отвращение. Фактические ли убийцы, Эйдуки, Шульманы, Саенки, или верхушечная «интеллигентская» головка ЧК.

Для кабинетного окружения Дзержинского очень

типичен председатель петербургской ЧК Моисей Урицкий, злобное трусливое ничтожество, крохотный, по-утиному переваливающийся на кривых ножках человечек с кругленьким лицом без растительности, визгливым голосом и глазами, застывшими в тупо-ироническом самодовольстве. Этот уродец, мещанин города Черкасс, до революции комиссионер по продаже леса, в 1918 году стал бесжалостным поставщиком подвалов петербургской чеки.

При Дзержинском состоял, а теперь у Сталина дошел до высших чекистских постов кровавейший следователь ВЧК Яков Агранов, эпилептик с бабьим лицом, несвязанный с Россией выходец из Царства Польского, ставший палачем русской интеллигенции. Он убил многих известных общественных деятелей и замечательных русских ученых: проф. Тихвинского, проф. Волкова, проф. Лазаревского Н. Н. Щепкина, братьев Астровых, К. К. Черносвитова, Н. А. Огородникова и многих других. Профессора В. Н. Таганцева, не желавшего давать показания, он пытал, заключив его в пробковую камеру, и держал его там 45 дней, пока путем пытки и провокации не добился нужных показаний. Агранов уничтожал цвет русской науки и общественности, посылая людей на расстрел за такие вины, как «по убеждениям сторонник демократического строя» или «враг рабочих и крестьян» (с точки зрения убийцы Агранова). Это же кровавое ничтожество является фактическим убийцей замечательного русского поэта Н. С. Гумилева.

Среди головки ВЧК знаменит и неудавшийся венгерский Ленин, комивояжер Бела Кун. Ему вместе с чекистами Фельдманом и достойной особой монографии, фурией коммунистического террора Р. С. Залкинд, прославившейся под псевдонимом «Землячка», Дзержинским была поручена террористическая расправа въ Крыму 1920 года.

Здесь Бела Кун выдумал следующий способ массовых казней. Под угрозой расстрела он приказал на территории Крыма всем военнослужащим и военнообязанным явиться на регистрацию. Эта регистрация по плану Бела Куна была регистрацией смерти. По составленным полным спискам, вписаться в которые спешили все под страхом расстрела, Бела Кун начал вести расстрелы. Бойня шла месяцами. 28-го ноября «Известия временного севастопольского ревкома» опубликовали первый список расстрелянных в 1634 человека, 30-го ноября второй список в 1202 человека. За неделю только в Севастополе Бела Кун расстрелял более 8000 человек, а такие расстрелы шли по всему Крыму, пулеметы работали день и ночь.

По официальным коммунистическим данным Бела Кун с «Землячкой» расстреляли в Крыму до 50.000 человек, при чем столь обильную жатву чекистского бешенства остроумец Бела Кун в печати весело мотивировал тем, что «товарищ Троцкий сказал, что не приедет в Крым до тех пор, пока хоть один контр-революционер останется в Крыму».

Поэт Максимилиан Волошин, в доме которого в Крыму жил Бела Кун, об этом времени написал свои известные стихи о терроре:

Правду выпытывали из-под ногтей,
В шею вставляли фугасы,
«Шили погоны», «кроили лампасы»,
«Делали однорогих чертей».

По уродству, моральному идиотизму, изуверству, патологии, уголовщине армию чиновников террора, навербованных Дзержинским в социальной и моральной преисподней, нет возможности описать. Здесь и «усмиритель Одессы» грузин Саджая, действовавший под псевдонимом «доктора Калиничен-

ко», о террористических «причудах» которого в памяти одесситов остались были, похожіе на кровавые небылицы. Здесь парижский студент, сын буржуазной еврейской семьи Вихман, до революции белорозовый «скромный, как барышня», а в годы революции, из барышни превратившийся в дикого председателя ЧК, которого за садистические казни невинных людей впоследствии расстреляли даже сами большевики. Здесь председатель кунгурской чеки Гольдин, открыто заявлявший «для расстрела нам не нужно ни доказательств, ни допросов, ни подозрений. Мы находим нужным и расстреливаем, вот и все!» Здесь — кончивший жизнь самоубийством следователь ВЧК Миндлин, ведший допрос не иначе, как наставляя в лицо обвиняемому наган. Здесь и чекисты бонвиваны-аристократы, следователь Московской ЧК барон Пиляр фон Пильхау и ленинградской — правовед Рончевский, допрашивающий арестованных необычайно галантно, вставляя французские mots и отправляя людей к стенке с необычайным наплевательством, но, конечно, тоже из жажды интегрального коммунизма. Здесь и алчный тупой подвальный палач ЧК, плечистый белесый детина Панкратов с озверелыми глазами на красном от беспрерывного пьянства лице, перед «работой» получавший стакан водки и комиссарский обед, а после работы в подвалах ЧК выбивавший из еще не окоченевшего рта расстрелянных золотые коронки, в то время как тремя этажами выше, у рычага машины всероссийского убийства, в своем кабинете неустанно работал Феликс Дзержинский, белой нервной рукой подписывавший смертные приговоры.

Знаток женской души Мирабо, когда-то говорил эмиссарам парижского мятежа, что «если женщины не вмешаются в дело, то из этого ничего не выйдет». В ВЧК женщины густо вмешались. «Землячка» — в Крыму. Конкордия Громова — в Екатеринославе.

«Товарищ Роза» — в Киеве. Евгения Бош — в Пензе. Яковлева и Елена Стасова — в Петербурге. Бывшая фельдшерица Ревекка Мейзель-Пластинина — в Архангельске. Надежда Островская — в Севастополе, эта сухенькая учительница с ничтожным лицом, писавшая о себе, что « у нее душа сжимается, как мимоза, от всякого резкого прикосновения», была главным персонажем чеки в Севастополе, когда расстреливали и топили в Черном море офицеров, привязывая тела к грузу. Об этих казнях известно, что опустившемуся на дно водолазу показалось, что он —на митинге мертвецов. В Одессе действовала также чекистка венгерка Ремовер, впоследствии признанная душевно-больной на почве половой извращенности, самовольно расстрелявшая 80 арестованных, при чем даже большевистское правосудие установило, что эта чекистка лично расстреливала не только подозреваемых в контр-революции, но и свидетелей, вызванных в ЧК и имевших несчастье возбудить ее больную чувственность. Но стоит ли говорить о смерти 80 человек, тем доставивших сексуальное удовлетворение коммунистке Ремовер? Совершается коммунистическая революция и сам Ленин сказал — «лес рубят щепки летят».

Московская следовательница-чекистка Брауде, собственными руками растреливавшая «белогвардейскую сволочь», при обыске самолично раздевавшая не только женщин, но и мужчин. Побывавшие у нее на личном обыске социалисты пишут: «приходилось недоумевать, что это? особая бездушная машина или разновидность женщины садистки?»

Вся эта сеть чиновников террора Дзержинского заканчивалась безвестными, но не менее жуткими провинциальными и деревенскими фигурами. Какой-то полтавский чекист «Гришка-проститутка», одесский чекист по кличке «Амур», туркестанский чекист, бывший цирковой артист Дрожжин, екатеринослав-

ский безграмотный чекист Трепалов, ставивший против фамилии непонравившихся ему арестованных «рас», что означало «в расход»; неведомая бакинская «чекистка Любка», рыбинская «чекистка Зинка»; какая-то захолустная Теруань де Мерикур, неизвестная звероподобная латышка, прозванная «Мопсом», о которой в истории осталось только то, что она, как и Теруань, одевалась в короткие мужские брюки и ходила с двумя наганами за поясом, своими зверствами заставляя дрожать население; в сентябрьские убийства в Париже воображение парижан потряс зверствами палач-негр Делорм, привезенный в Париж Фурнье-американцем, но и у Дзержинского мы знаем среди белых чекистов черного одесского палача — негра Джонсона.

За этими фигурами чекистской мелочи стоят уже совершенно молчаливые животнообразные статисты палачи-китайцы и отряды латышей, при чем о последних никто иной, как сам Петерс пишет, что большинство из них «не понимало русского языка».

Вот армия передовых бойцов мирового октября фельдмаршалом которой стал Дзержинский. Он связал эту армию своеобразной железной дисциплиной, окружив чекистов паутиной чекистской же провокации и шпионажа. Конечно, из этого уголовно-патологического отребья в рай бесклассового общества, если верил, то, разумеется, только Дзержинский. Известно, что за гробом умиравших чекистов Дзержинский всегда шел, хороня солдат своей армии под звуки революционного траурного марша — «Вы жертвою пали в борьбе роковой, в любви беззаветной к народу».

Неуместен вопрос, знал ли Дзержинский, что он «работает» руками садистов и отбросов уголовного мира? Он сам констатировал, что в ЧК «много грязного и уголовного элемента». Но Дзержинский не шеф армии спасения. Ленин говорил: «партия не пан-

сион благородных девиц, иной мерзавец потому то и ценен, что он мерзавец». Слышавший на третьем этаже неистовый шум заведенных во дворе моторов Дзержинский был того же мнения. В этой кровавой кооперации разница меж чекистами была только разницей этажей. Тем то и страшна душа Дзержинского, что он не витал в эмпиреях, а всегда был человеком самой *низкой практики* и нечаевского беспардонного утилитаризма. Вопросов о «моральности» и «аморальности» для Дзержинского не возникало: — морально все, что укрепляет власть коммунистической партии.

Может быть уголком своей дворянской души Дзержинский и презирал особенно отвратительных палачей. Зато он понимал, что именно *ужасом их работы* он загипнотизировал страну и отсветом этой крови рентгенизирует души своих подданных, которые в представлении Дзержинского стали только карточками, внесенными в чекистскую картотеку.

К тому же ведь гибли враги? И важно, чтоб они *гибли*. А спресовывает ли им Саенко перед смертью головы или гуманно разворачивает затылок из нагана, это председателю ВЧК в высокой степени неинтересно. В крайности, переставшего быть нужным того или другого палача он объявит сумасшедшим и его истребят, «выведут в расход», а на его место поставят другого.

Вульгарно было бы делать из Дзержинского порочно-мелодраматическую нереальную фигуру кровопийцы. Гораздо страшнее то, что директор этого «театра ужасов» Дзержинский был *совершенно нормальный коммунист*.

С 1917 года с момента организации ВЧК авторитет Дзержинского в правительстве и в партии всегда был непререкаем. Там «наверху» было понятней, чем где бы то ни было значение роли Дзержинского. Глава ВЧК был главный персонаж революции. Это он

гекатомбами трупов удержал власть коммунистической партии над народом. Это его победа.

Для главарей коммунизма в терроре характерна полная беспощадность. В то время как от терроризма Марата отстранялись даже самые ярые якобинцы, в то время как и Робеспьер и его враги одновременно пугаясь террора, пытались как-то умерить и утишить его, среди головки Кремля никогда ни один не возвысил голоса против террора.

Наоборот. Трусливая и кровожадная олигархия Кремля всегда заискивала перед ВЧК и перед Дзержинским. Верховный вождь, Ленин, лебезя, появлялся в чекистских клубах, читал доклады, одаряя любезностью Дзержинскаго. Зиновьев, Троцкий, Сталин все поддерживали Дзержинского, благодаря его только за то, что исторически всю кровь террора Дзержинский покрыл своим именем.

Вот что писал о терроре убивший адмирала Щасного за спасение балтийского флота, Троцкий: «Устрашение является могущественным средством политики, и надо быть лицемерным ханжой, чтоб этого не понимать. Трудно обучить массы хорошим манерам. Они действуют поленом, камнем, огнем, веревкой!» О, разумеется, Троцкий тогда не предполагал, что через несколько лет (после того, как Сталин применил к нему это само «полено») он будет унизительно просить демократические правительства Европы о «праве убежища». Впрочем, те, кого Троцкий должен был бы при наступлении мировой революции поставить к стенке, ведут себя вполне воспитанно, охраняя «генералиссимуса» приставленными к нему специальными полицейскими.

Дантона в Кремле не нашлось. Тут спора о пределах крови не возникло. Да, пожалуй, и возникнуть не могло. Массовый террор по захвате власти у ленинских марксистов был всегда предусмотрен, с террором тут не фальшивили; не мог он вызвать дан-

тонистских протестов и потому, что в мировоззрении этих последователей исторического материализма личность никогда не играла роли. Она всегда была quantité négligeable, как когда-то выразился, будучи марксистом, Петр Струве.

Эта доктрина в терроре Дзержинского оказалась страшнее всякой гильотины якобинства. Умея «беречь ужас» красного террора, большевики длят его 18 лет

Но было бы неверно сказать, что среди коммунистов совсем не раздались негодующие голоса. Они пробовали раздаться, но не в Кремле, а у рядовых членов партии. «Я краснею за ваш застенок», писала Ларисса Рейснер о петербургской чеке. «Можно быть разных мнений о терроре, но то, что сейчас творится, это вовсе не красный террор, а сплошная уголовщина», осмелился написать старый большевик Ольминский. «Разве вы не слышите голосов рабочих и крестьян, требующих устранения порядков, при которых могут человека держать в тюрьме, по желанию передать в трибунал, а захотят — расстрелять», писал коммунист Дьяконов. Попробовали возникнуть где-то даже попытки проектов подчинить ВЧК наркомюсту и наркомвнуделу, лишив ее права непосредственной расправы.

Но в ответ на эти «гуманистические охи» и неизжитые «установки гнилого либерализма» одиночек, Дзержинский выбросил такие ледяные слова, что малокровные протесты раз навсегда оборвались.

« Передать наркомвнуделу дело борьбы ЧК? Знаем, что это значит, это значит, что от ЧК останутся только рожки да ножки», ответил Дзержинский. «Чрезвычайные комиссии это лучшее, что могут дать наши советские органы! В условиях широкой гласности работа ЧК обречена на бесплодность!», заявил спущенный Дзержинским с цепи палач Лацис.

«Нечего падать в обморок! Новые люди не привыкли к юридическим мудростям!» заорал Петерс.

И совершенно сознательно, с холодным спокойствием, уже залитый кровью Дзержинский «грудью» прикрыл свое детище ВЧК от всяких протестов, еще раз беря на себя всю растленность своего террора, число жертв которого надо теперь исчислять миллионами.

В книге «La Russie nouvelle» Эдуард Эррио относит Дзержинского к тем, «кого ни золото всех тронов мира, ни человеческие соображения не могут отклонить от предначертанной цели». Золото? Верно. Марата оно тоже не интересовало. Но для того, чтобы французы могли отчетливо понять деятельность Дзержинского, они должны, вспомнив великую Французскую революцию, представить во что превратилась бы Франция, если бы в течение 18 лет фактическая власть в стране принадлежала Марату и маратистам.

Перед подвлом ЧК, ужасом массовых харьковских, уральских, московских, киевских, архангельских, сибирских, петербургских, донских, кронштадтских, одесских казней убийства въ монастыре кармелитов, в тюрьме Форс и гильотина Гревской площади кажутся только небольшими театральными постановками.

Созданная Дзержинским ВЧК по праву занимает первое место в истории всех терроров, ее кровавая слава переживет не одно поколение. Этой чести у «сторожевого пса октябрьской революции» не отнять.

14. ВСЕРОССИЙСКАЯ РОБЕСПЬЕРИАДА

Поднятый Дзержинским массовый террор в 1918-1920 годах захлестывал Россию. В тюрьмах сидели одинаково монахи, адвокаты, священники, помещики, учителя, министры, спекулянты, рабочие, интеллигенты, крестьяне.

Террор свирепствовал в столицах и в провинции, переходя в бешеную бойню там, где народ оказывал малейшее сопротивление. Напрасно думать, что жертвами красного террора были «купцы и помещики», террор Дзержинского был «всеобъемлющ» и в чрезвычайках аристократы умирали так же, как рабочие, и крестьяне, так же, как интеллигенты.

Иллюстрацией тому служит судьба астраханских рабочих, когда в марте 1919 года доведенные до отчаяния разорением гражданской войны они попробовали было начать волнения в коммунистическом государстве. Требования стоявших в очереди за восьмушкой хлеба в день волновавшихся рабочих были минимальны: — просили дать право свободной ловли рыбы и свободной закупки хлеба.

В ответ раздался окрик коммунистического начальства «прекратить волынку и дать максимум производства!» Рабочие настаивают. По Астрахани пронеслись тревожные гудки. Заводы стали вдруг замирать. Озлобленными негодующими толпами рабочие сошлись на грандиозный десятитысячный митинг, чтобы требовать от коммунистов все того же права

голодной Астрахани свободно закупать хлеб и свободно ловить рыбу.

Это не собрание буржуазии, аристократов, интеллигенции. Это митинг рабочих, опасная волна снизу, это встревоженные *массы* просят хлеба. И в штабе коммунистов у представителя ВЦИК Мехоношина и наместника Дзержинского чекиста Чугунова при первых же донесениях о волнении рабочих родился тот самый непокидающий большевицкую диктатуру страх подымающейся народной расправы. Этот страх коммунистическая власть заливает кровью.

Мехоношин с Чугуновым выслали на митинг комиссаров-чекистов, требуя немедленно разойтись, прекратить волнения и встать за станки. Комиссары-чекисты вышли не одни, с ними вооруженные отряды. Приказ: в случае сопротивления «контр-революционеров» открыть огонь и подавить волнение в корне.

Митинг гудел, волновался. В царское время не подчинялись разгону, захотели не подчиниться и тут. Но на случай всех противо-правительственных волнений чиновникам своего ведомства Дзержинским разосланы короткие инструкции. И согласно им, в шуме, гомоне десятитысячного митинга раздался внезапный залп отряда чекистов, смешавшийся с треском пулеметов. Митинг дрогнул, повалился на землю. И вдруг, вскакивая, всей массой рабочие хлынули под пулями врассыпную с криком — «стреляют! стреляют!»

Бегущие кричали: «Бежать из города!» — Знают, как подавят чекисты волнения. Но куда бежать? Бездорожье. Волга вскрылась.

«— Бежать! Хоть к белым! Все равно расстреляют! Жены, дети, да куда же бежать?!» — кричали скопившиеся у церкви рабочие. Но вот дальний орудийный удар. Близится свист,жужжание и купол церкви с грохотом рушится на столпившихся. Толпа кину-

лась, падают раненые, убитые. Картечью усмиряют толпу в городе коммунисты, а за бросившимися за город поскакали карьером конные, окружают, бьют, гонят назад въ Астрахань.

К ночи волнение подавлено. В темноте, покоривши «контр-революцию», чекисты Мехоношина и Чугунова начали расправу: расстрелы схваченных рабочих. Рабочих грузили на баржи, на пароходы, стоявшие на Волге. Наибольшие зверства, перед которыми меркнут «нантские нуаяды» Каррье, происходили на пароходе, носившем имя великого русского писателя — «Н. В. Гоголь».

Что ж удивляться? Красный террор не шутит. Чекисты выполняют директиву Дзержинского: — «расправляться беспощадно». И Астрахань захлебнулась в той самой расправе, о которой в зале Смольного говорил Феликс Дзержинский еще в декабре 1917 года.

С пароходов и баржей трупы сбрасывали в воду. Некоторых связывали за руки и за ноги, некоторым привязывали камни. С «Н. В. Гоголя» в Волгу свалили 180 трупов бунтовавших рабочих. Кожаными куртками руководил комендант ЧК, бывший бандит Чугунов. По его приказам и на суше расстреливали бунтовавших чекисты, увозя в грузовиках трупы, второпях, по разгильдяйству роняя тела по улицам. Это, конечно, непорядок, и Чугунов отдал приказ: «под страхом расстрела воспрещаю растеривание трупов по дороге».

На третий день террора в каждом доме Астрахани лились слезы, раздавались вопли, но это неважно, «в революции гибнут люди, это дело самое обыкновенное», говорил Дзержинский.

Два месяца под чекистской расправой жила Астрахань, где чекисты давали рабочим урок, что пора-де кончать дурацкие демократические бредни о «сво-

боде»: урок обошелся в четыре тысячи расстрелянных.

Но хоть в Астрахани воцарилась тишина, как в мертвецкой, чекистам недостаточно только крови, нужна еще демонстрация покорности. Астрахань запестрела приказом: — «всем рабочим и работницам под страхом расстрела, ареста, увольнения и отобрания карточек явиться в 10 часов утра в назначенные пункты на похороны жертв революции».

Инородческая конница из латышей, мадьяров, калмыков, сгоняла рабочих на похороны нескольких убитых в свалке чекистов. И рабочие, двигаясь понурой толпой за чекистскими гробами, закутанными в кумач, пели «Вы жертвою пали в борьбе роковой...»

Очевидцы рассказывают, что в этой процессии раздавался плач навзрыд. Астрахань безропотно покорилась. «Вы исполнили ваш революционный долг и железной рукой, не дрогнув, раздавили восстание. Революция вам этого не забудет», — в речи к своим чекистским войскам говорил кремлевский проконсул Мехоношин.

Те же кровавые расправы над рабочими повторились в Сормове, Коломне, Коврове, Нижнем-Новгороде; на Урале в Ижевске и Воткинске рабочие с оружием в руках попробовали восстать против коммунистов, но были беспощадно подавлены, о чем рассказал в своих воспоминаниях «Как мы потеряли свободу» рабочий И. Уповалов.

Та же картина в Казани, где шестьдесят представителей рабочих были расстреляны за требование восьмичасового рабочего дня, пересмотра тарифных ставок и удаления свирепствовавших мадьярских отрядов.

Еще большие кровавые расправы шли в 1920 году в Баку, когда в Азербейджан вступила красная армия; под Баку прославился остров «Нарген», куда

свозили арестованных и где их расстреливали чекисты.

В той же покорности замер Тифлис, когда вместе с войсками туда въехали чиновники Дзержинского производить «революцонную расправу». Тут кровавой известностью пользовалось место за грузинским университетом «Ваке», куда свозили чекисты всех схваченных. В процессиях на место массовых казней, как рассказывает бывший чекист Думбадзе, обычно впереди на маленьком форде ехал комендант чеки, а за ним двигались грузовики, наполненные до краев полуголыми, в одном белье, связанными между собою людьми. На бортах автомобиля, свесив ноги, сидели чекисты с винтовками в руках. Гул моторов пронзал могильную тишину улиц, по которым на казнь двигалась эта процессия.

Те же расправы в Поволжьи, в Саратове, где чиновник ведомства Дзержинского чекист Озолин даже не отрицал факта пыток арестованных и где жители не забудут пригородного оврага у Монастырской слободки, куда возили по ночам чекистские грузовики арестованных где выводили их со скрученными назад руками, ставили на край оврага и расстреливали, сбрасывая трупы на дно. Тут пытали члена Учредительного Собрания И. И. Котова, перебив ему руки и ноги.

Та же расправа на Украине, в Харькове, где действовали чекисты Фельдман и Португейс, и в Киеве, где погибло до двенадцати тысяч человек, где действовала всеукраинская чека во главе с Лацисом и Шварцом и губчека во главе с Дехтяренко, Лифшицем и Шварцманом.

Когда белые заняли Киев, место работы чиновников Дзержинского представилось в следующем виде: — весь цементный пол большого гаража, где производились расстрелы, был залит сгустившейся от

жары кровью, смешанной в ужасающую массу с мозгом, черепными костями, клочьями волос.

Тот же террор в Сибири, Туркестане, на севере России, на юге, в Крыму. На всем беспредельном пространстве шла поднятая Дзержинским всероссийская робеспьериада, осуществляемая руками большевицкого охлоса, на который оперся в терроре Дзержинский. Над всероссийским ужасом открытого апофеоза убийства горели его лихорадочные глаза, глаза изувера и демагога.

15. ТЕРРОР НА ТЕРРОР

Но несмотря на беспощадность террора Дзержинского, страна все же отчаянно сопротивлялась диктатуре Кремля, отвечая на террор террором. «Чем больше голов рубили они, тем сильнее чувствовали сопротивление». И если народ оказался временно побежденным, то не восемнадцатью годами исчерпывается такая революция, как русская. Она еще не причалила к своим берегам.

Уже в 1918 году Дзержинскому пришлось столкнуться с попытками заговоров. Тогда по Москве ходил еще «человек в красных гетрах», опытный конспиратор-террорист Борис Савинков, пытаясь поставить террористические акты против вождей коммунизма и затевая вооруженное восстание в Москве.

Дзержинский знал, что Савинков в Москве, о Савинкове ходили «легенды», то его кто-то видел загримированным стариком, то он шел без грима среди бела дня по людной улице с папиросой в зубах. Но Савинков оставался неуловим, хотя Дзержинский пустил в ход весь свой провокаторско-шпионский аппарат, чувствуя, что где-то тут же под боком Савинков ведет «подкоп» под стены Кремля.

Только в мае того же года в деле поимки Савинкова на помощь Дзержинскому пришел случай. Апельсинной коркой, на которой поскользнулся Савинков, оказалась, как это ни странно, любовь неизвестного юнкера Иванова к неизвестной сестре ми-

лосердия Покровской общины, где этот юнкер лежал на излечении. Роковая юнкерская любовь стоила сотням людей жизни, и конспиративная организация Савинкова оказалась разгромленной.

В середине мая 1918 года неизвестная сестра милосердия, придя в ВЧК на Лубянку, просила провести ее к самому Петерсу. На приеме у Петерса необычайно волновавшаяся сестра рассказала, что находившийся на излечении в Покровской общине влюбленный в нее юнкер Иванов под секретом сообщил ей, что в Москве существует тайная антикоммунистическая организация, что скоро будет ее выступление, которое начнется восстанием и расправой с ненавистной опорой коммунизма латышскими стрелками и чекистскими отрядами и что он, влюбленный юнкер Иванов, не просит, а умоляет ее на это время уехать из Москвы.

Что руководило предательством сестры милосердия? Корысть? Страх перед ВЧК? Мотивы предательства канули в кабинете Петерса. Известно только, что сведения, полученные от влюбленного юнкера, Дзержинскому и Петерсу показались достойными «самого серьезного внимания» и по личному приказу Дзержинского за юнкером Ивановым ЧК установила неотступную слежку. Слежка показывала, что юнкер Иванов часто заходит в дом № 3, в кв. 9, в Малом Левшинском переулке, где собирается много неизвестного народу.

В Малом Левшинском, в доме № 3 была конспиративная квартира «Союза Защиты Родины и Свободы» — резиденция одного из заговорщиков, начальника дивизии полковника Жданова. Здесь появлялся и руководитель организации Савинков с начальником штаба полковником Перхуровым, бывал здесь и помощник Савинкова командир стрелкового латышского полка Ян Бредис; сюда же, говорят, заезжал

и молодой адвокат, кавалерист, председатель союза евреев-комбатантов Александр Виленкин.

Операцию захвата этой квартиры Дзержинский поручил Петерсу. 29-го мая 1918 года отряд до зубов вооруженных чекистов во главе с Петерсом на грузовиках выехал в Малый Левшинский переулок.

Было около двух часов дня, когда грузовики остановились у дома № 3. Латыши соскочили, оцепили дом, а часть отряда во главе с Петерсом поднялась по лестнице и остановилась у квартиры № 9, занимаемой неким Сидоровым (поручиком Аваевым) и Парфеновым (штаб-ротмистром Покровским).

Петерс постучал условным стуком. Его не расслышали, и ему открыли не сразу. В это время, окончив свои дела, члены «Союза Защиты Родины и Свободы», не подозревая, что они уже выслежены, сидели за дружеской беседой. Капитан Ильвовский показывал штаб-ротмистру Покровскому «бессмертную» шахматную партию Андерсена. Остальные вели споры на тему о русской революции.

— Господа, минуточку, кажется кто-то стучит, — проговорил поручик Аваев и пошел к двери. Но как только он отпер, дверь с шумом и грохотом откинулась и на Аваева неожиданно глянули дула винтовок и маузеров.

— Руки вверх! — закричал побледневший Петерс, ожидавший сопротивления. Но врасплох застигнутые сопротивления не оказали. И, пересиливая свою трусость, Петерс с латышами навел дула на неопытных второстепенных заговорщиков.

— Ааа, нашли ваше гнездо! — ревел Петерс. — Обыскать!..

Латыши кинулись обыскивать квартиру. Легкомысленные в конспирации молодые люди, похожие, вероятно, на влюбленного юнкера Иванова, который присутствовал тут же, держали переписку прямо в столах, а из-под кровати латыши вытащили — бом-

бы, нитроглицерин и револьверы. Петерс уже рассматривал брошюру «Основные задачи Союза», план эвакуации «Союза» в Казань и адреса имеющихся там квартир со всеми явками.

— Так, так, — говорил он, — попались голубчики.

Тринадцать человек арестованных, в числе которых был и юнкер Иванов, латыши повезли на Лубянку в ВЧК, где начались их «ночные допросы». Мы знаем эти «допросы». Арестованные, как говорит сам Петерс, «стали понемногу сознаваться». Один из них, капитан Пинка, видный член московской организации, при условии дарования ему жизни, многое выдал. Вслед за арестованными чекисты схватили полковника Яна Бредиса и Александра Виленкина. Камеры ЧК ежедневно стали наполняться арестованными членами заговорщицкой организации и случайно оговоренными на допросах людьми.

«Союз Защиты Родины и Свободы» в Москве был разгромлен. Вслед за Левшинским переулком, 3-го мая последовал захват конспиративной квартиры военного штаба Союза, помещавшейся в Молочном переулке под видом «Лечебницы доктора Аксанина». Савинкову с полковником Перхуровым удалось бежать в провинцию, но и в провинции на основании признаний, выпытанных у арестованных, чекисты захватывали ответвления Союза один за другим.

Все арестованные ждали только расстрела. Расстрелы шли. Но с казнью крупных участников заговора Яна Бредиса и Александра Виленкина чекисты несколько медлили. О своей казни мужественный и чрезвычайно спокойный полковник Ян Бредис, о храбрости которого во время мировой войны ходили легенды ,узнал необычно. Всегда в утренние часы заключенные читали вслух газету. В газетах в те дни публиковались длинные списки расстрелянных.

В одно из утр газету вслух читал Бредис и среди приведенных фамилий уже расстрелянных Бредис вслух прочел свою. Перед заключенными был живой мертвец. После минутного молчания Бредис спокойно проговорил:

—Ну вот и конец.

Но пять дней после опубликования чекисты не брали Бредиса на расстрел. Может быть, по разгильдяйству, может быть, умышленно пытая. Пять дней ходил по камере Бредис, не подавая вида подавленности. А когда пришли его брать «с вещами по городу» — минутная надежда на побег вспыхнула у Бредиса: за ним пришли его же стрелки-латыши, которыми командовал он в мировую войну. Но короткая надежда на побег не оправдалась, в революцию стрелками уже командовал Петерс.

Не удался побег и Александра Виленкина. Храбрый офицер, сумской гусар, получивший вольноопределяющимся на войне четыре георгиевских креста, Виленкин был кем-то предупрежден о грозившем ему аресте, но задержался на квартире, уничтожая документы, которые могли скомпрометировать его товарищей. Этим он многих спас, но скрыться не успел и был схвачен чекистами.

Его по несколько раз допрашивал лично Дзержинский. Говорят, что на этих допросах Виленкину удалось сбить следствие, казнь его оттягивалась, а в это время на воле товарищи готовили Виленкину побег.

В один из дней к Таганской тюрьме, где сидели заключенные члены «Союза Защиты Родины и Свободы», подъехал автомобиль ВЧК с ордером на штаб-ротмистра Виленкина и корнета Лопухина. Только в самую последнюю минуту, готовый уж выдать арестованных, начальник тюрьмы обнаружил подложность ордера. Неизвестный автомобиль скрылся, а через

несколько дней его сменил уже настоящий чекистский «черный ворон», взявший Виленкина и Лопухина на расстрел.

В камере Виленкина на стене остался написанный им перед казнью экспромт:

«От пуль не прятался в кустах.
Не смерть, но трусость презирая,
Я жил с улыбкой на устах
И улыбался, умирая».

И в письме, посланном на волю перед смертью Виленкин писал: «пусть знают, что «из наших» тоже умеют умирать за Россию».

Но ликвидация «Союза Защиты Родины и Свободы» не дала Дзержинскому успокоения. Вместе с ростом террора росло и сопротивление страны. Через шесть недель бурно вспыхнул новый заговор, чуть не стоивший Дзержинскому жизни. На этот раз удар заносился из-за угла, заговор созрел почти что в лубянском кабинете Дзержинского, ибо крупную роль в нем играл зампред ВЧК левый эс-эр Александрович.

Сигналом к восстанию левых эс-эров послужило убийство германского посла графа Мирбаха.

6-го июля 1918 года около трех часов дня к дому № 5 по Денежному переулку, занимаемому германским посольством, на автомобиле подъехали два человека. Один смуглый брюнет с бородой и усами, одетый в черную пиджачную пару, «тип анархиста», как показал позднее член германского посольства. Другой — рыжеватый, худощавый, одетый в коричневый костюм и цветную косоворотку. Оба были с портфелями. Вылезли и прошли в здание посольства.

Войдя, брюнет сказал дежурному чиновнику, что они члены ВЧК, прибыли по поручению Дзержинского переговорить с графом Мирбахом.

О пришедших доложили первому советнику посольства доктору Рицлеру. В сопровождении пере-

водчика военного агента лейтенанта Мюллера, доктор Рицлер вышел к пришедшим и те отрекомендовались ему членом ВЧК Блюмкиным и членом революционного трибунала Андреевым, при чем предъявили мандат за подписью Дзержинского:

«Всероссийская Чрезвычайная Комиссия уполномачивет члена ее Якова Блюмкина и представителя Революционного трибунала Николая Андреева войти в переговоры с господином германским послом в Российской Республике по поводу дела, имеющего непосредственное отношение к господину послу.

Председатель ВЧК Ф. Дзержинский.
Секретарь Ксенофонтов».

Но как ни уверял их доктор Рицлер, что он в качестве первого советника посольства уполномочен вести все переговоры, как ни предлагал изложить сущность дела ему, Блюмкин настаивал на распоряжении Дзержинского, чтобы они переговорили лично с послом, которого *лично* касается это дело.

И через пять минут в зале посольства, за мраморным столом, по одну сторону сидели граф Мирбах, доктор Рицлер, лейтенант Мюллер, а по другую — Блюмкин и Андреев. Разложив подложные документы, Блюмкин говорил послу о судьбе арестованного чекистами родственника графа, австрийского офицера Роберта Мирбаха, в судьбе которого якобы посол должен был быть заинтересован.

В разговоре чувствовалась неясность, немцы слегка недоумевали. Граф Мирбах сказал своему убийце, что тут, вероятно, какое-то недоразумение, ибо арестованный не является его родственником; и чувствуя все ту же странность посланцев Дзержинского, доктор Рицлер проговорил:

— Мне кажется, ваше сиятельство, мы можем кончить этот разговор и ваше сиятельство дадите письменный ответ господину Дзержинскому через министерство иностранных дел?

Заговорщики видели, что граф Мирбах с предложением согласен. Но тогда, не давая высказаться послу, дотоле сидевший молча, рыжеватый член революционного трибунала Андреев быстро перебил:

— Может быть, господину германскому послу желательно узнать, какие меры будут приняты трибуналом по делу графа Роберта Мирбаха?

Немцы не поняли сигнала. Но условный знак был уже дан, и брюнет, раскрывая портфель и что-то вынимая оттуда, ответил:

— Да, да, я сейчас покажу господину послу.

Вместо бумаг Блюмкин выхватил из портфеля револьвер и трижды выстрелил через стол — в Мирбаха, в Мюллера, в Рицлера. Но во всех трех дал промах. Граф Мирбах бросился в соседний зал. В этот момент в него выстрелил Андреев. И снова бросившийся за Мирбахом выстрелил Блюмкин. Затем раздался оглушительный взрыв брошенной бомбы, рухнула штукатурка, посыпались оконные стекла, все окуталось дымом. Граф Мирбах мертвый лежал на полу зала, а убийцы, выпрыгнув в окно, умчались на ждавшем их автомобиле.

Вслед за убийством вспыхнуло восстание.

В момент драмы в Денежном переулке, правая рука Дзержинского Петерс стоял в буфете Большого театра с одним из главных участников заговора зампредом ВЧК Александровичем. Они пили лимонад. И, отпивая эту лимонную воду, Александрович уговаривал Петерса поехать в чекистский отряд Попова. Этот матросский отряд был главной силой заговорщиков. Но западня для матерого чекиста не удалась. Мрачный, волосатый, похожий на бульдога Петерс ехать отказался и пошел прочь от Александровича на сцену театра ,в котором в те дни происходил 5-й Съезд Советов.

Дзержинский в своем кабинете ВЧК взял телефонную трубку. У прямого провода был Ленин. Ленин взволнованно картавя, говорил:

— Знаете, что убит Мирбах?

— Что?!

— Немедленно поезжайте в посольство на место убийства!

Телефонные трубки брошены. Дзержинский вскочил. Уж давно через заместителя наркоминдела Карахана германское посольство сообщало ВЧК, что в их распоряжении имеются данные о готовящемся покушении на графа Мирбаха. Расследование этих сведений вел лично Дзержинский. Граф Мирбах давал даже адреса лиц, замешанных в организацию покушеня. Но как ни старался проверить эти сведения Дзержинский, они не приводили ни на какой след. Дзержинский даже сообщил посольству, что кто-то вероятно, умышленно дает им ложные сведения, не то шантажируя, не то из каких-то иных более сложных соображений.

Тем не менее от графа Мирбаха через Карахана к Дзержинскому все упорней шли сообщения о неминуемо готовящемся одновременном покушении как на немецкого посла, так и на вождей коммунизма. Тревога германского посольства усугублялась тем, что — как это выразил доктор Рицлер Карахану — ими будто бы были получены сведения, что глава ВЧК Дзержинский умышленно смотрит сквозь пальцы на готовящееся убийство германского посла.

Говорят, Дзержинский был в бешенстве, но не от подозрений, а оттого, что не мог распутать тайну, плетущуюся вокруг Денежного переулка. Тогда-то и произошло свидание гехеймрата доктора Рицлера и председателя ВЧК Дзержинского в кабинете у Карахана. Это свидание людей двух миров, первого советника императорского германского посольства, аккуратнейшего и педантичнейшего дипломата, доктора Рицлера, и залитого кровью чекистских подвалов председателя ВЧК было чрезвычайно колоритным.

Ни гехеймрат Рицлер, ни чекист Дзержинский целиком не доверяли друг другу. Малоосведомленный в бесовщине большевизма и бесовщине председателя ВЧК гехеймрат Рицлер сторонился этого человека, но в то же время чересчур сторониться было нельзя, ибо от него, в сущности, зависела жизнь членов посольства. Дзержинскому тоже было неприятно вести разговоры с представителями «акул германского империализма», но именно от них-то в тот момент быть может и зависела жизнь кремлевских вождей. Старая истина о том, что все правительства — братья, витала в кабинете Карахана во время этого интереснейшего разговора.

Доктор Рицлер высказал свои опасения. Дзержинский гневно назвал клеветой все слухи, будто бы он смотрит сквозь пальцы на заговоры против представителей германского правительства. Беседой оба остались, кажется, довольны.

Но ровно через неделю в Денежном переулке граф Мирбах с простреленной головой лежал в луже крови на полу зала посольства.

Дзержинский ждал покушения со стороны «агентов англо-французского капитала», удар же заговорщики нанесли прямо из кабинета ВЧК.

Через пять минут после звонка Ленина несколько сильных машин неслись к Денежному переулку. Мчался сопровождаемый отрядом чекистов, следователями, комиссарами сам всемогущий Дзержинский. Дом посольства был охвачен возмущением и паникой.

В кожаной куртке, бледный, взволнованный сверх меры, с неподвижными глазами, словно у него были парализованы веки, окруженный чекистами Дзержинский вошел в посольство. Первый, кого он встретил, был гехеймрат Рицлер.

— Что ж вы теперь скажете, господин Дзержинский? — тоном упрека, возмущения и иронии про-

говорил Рицлер, уверенный в соучастии Дзержинского в убийстве.

И растерявшемуся Дзержинскому гехеймрат Рицлер протянул оставшееся у него удостоверение Блюмкина, подписанное Дзержинским. Дзержинский увидел сразу, что его подпись фальшива, но о восстании еще не предполагал. В сопровождении трех чекистов он выехал прямо в отряд Попова, чтобы там арестовать Блюмкина.

В отряде Попова, состоявшем из матросов и латышей, готовых вот-вот кинуться на коммунистов, в главном штабе заговора кипело возбуждение «исторических» моментов. Шел шум, бестолковщина, отдавались приказания, все главари восстания были уже в сборе, когда внезапно вошел Дзержинский.

Это была хорошая драматическая сцена.

— Где Блюмкин? — проговорил Дзержинский, подходя к Попову.

— Не знаю. Болен. Уехал на извозчике.

— Я требую честного слова революционера, — закричал Дзержинский, — у вас Блюмкин или нет?

— Я не знаю, где Блюмкин.

Дзержинский чувствовал: — Попов лжет и вдруг увидел на столе фуражку Блюмкина.

— Вы лжете, и я найду его сам! — крикнул Дзержинский и, повернувшись к сопровождавшим его чекистам, проговорил: — Ищите Блюмкина в караульном помещении!

Но в этот момент в воздухе запахло неладным. Во взглядах матросов и латышей, окружавших Дзержинского, ничего доброго не было. К Дзержинскому подошли левые эс-эры Прошьян и Карелин.

— Товарищ Дзержинский, не трудитесь искать Блюмкина, — сказал Прошьян; — граф Мирбах убит по постановлению партии левых эс-эров и всю ответственность за убийство берем на себя мы — члены ЦК партии.

Вот тут-то ,наконец, понял Дзержинский, какой этим убийством над его партией занесен удар.

— После этого я объявляю вас арестованными! А если Попов откажется выдать вас, я убью его на месте, как предателя! — закричал Дзержинский.

— Хорошо, — проговорил Карелин, но с этими словами оба бросились в комнату штаба отряда. Дзержинский — за ними, но часовой его не пустил. И тут Дзержинский увидел всех заговорщиков: Черепанова, Трутовского, Александровча, Спиридонову, Фишмана, Саблина, Камкова.

Из этой группы навстречу Дзержинскому вышел небезызвестный революционный enfant terrible, блазированный юноша Юрочка Саблин и остановившись перед Дзержинским, произнес:

— Гражданин Дзержинский, сдавайте оружие— вы арестованы!

Охваченный бешенством Дзержинский хотел было заартачиться, но помощник Попова матрос Протопопов без всяких исторических поз схватил Дзержинского за руки и отнял оружие.

Дзержинский был арестован. В комнату, где он метался в бессильном бешенстве вошел глава левых эс-эров, человек редкого мужества Донат Андреевич Черепанов. Этот безвременно погибший Дантон русской революции, потирая руки, смеясь проговорил:

— Ну, что ж, Дзержинский, у вас были октябрьские дни, а у нас июльские? Что? Разве не похоже?

Во всей Лубянке в этот момент творилась та революционная неразбериха, которая иногда действительно превращается в государственные перевороты. В коридорах ВЧК отряд матросов прижал к стене Лациса.

— Руки вверх! Кто ты такой? — кричал насевший на Лациса матрос Жаров.

Гроза ВЧК трусливо поднял руки и назвал себя.

— А, Лацис! — заревели матросы, — тебя то нам и надо, идем, идем!

— Да куда его весть, ставь к стенке сволочь такую! — кричали матросы и неизвестно вырвался ли бы от матросов Лацис, если б к ним не бросился интеллигент Александрович, бормоча «убивать не надо, товарищи, арестовать, но не убивать».

Тем не менее казалось, что дело принимает серьезный оборот — левые эс-эры парализуют опору и надежду Кремля — ВЧК. Настроение заговорщиков радужное, приходят вести о присоединении к восставшим целых полков, о присоединении командующего восточным фронтом красных войск Муравьева.

Из головки ВЧК на свободе оставался Петерс. Его-то и поймал на сцене Большого театра телефонный звонок Троцкого. Троцкий говорил Петерсу «невероятные» вещи: Мирбах убит, Дзержинский арестован, принимайте самые крайние меры, немедленно арестовывайте на съезде всю фракцю левых эс-эров.

Борьба закипела.

Петерсу приходилось довольно трудно, в ВЧК шла мешанина, никто не понимал толком кто за кого — за левых эс-эров иль за большевиков? Но в Большом театре уж захвачена фракция левых эс-эров, захвачена в автомобиле Мария Спиридонова.

— Пол-кремля, пол-лубянки, пол-театра за Марию снесу! — кричал начальник восставших отрядов Попов. Но заговорщики теряли в словесном бесдействии время, творящее перевороты, и их революция становилась похожей на «стоячую» революцию декабристов.

Утром 7-го июля чекистские отряды, собранные Петерсом, повели наступление на Чистые Пруды, где сконцентрировались главные силы мятежа. Левые эс-эры открыли было артиллерийский огонь, беря мишенью Кремль, совнарком. Но — неудачно. А артиллерия коммунистов била по штабу левых эс-эров, и они, успев только с главного телеграфа оповестить Россию о том, что подняли восстание против дикта-

туры коммунистической партии, уже чувствовали, что восстание погибает.

Июльские дни не состоялись.

Под давлением превосходных сил коммунистов восставшие начали отступление. Вскоре брошенные охранявшими их матросами Дзержинский и Лацис оказались свободными.

Тогда-то и началась расправа не по эс-эровски, а по настоящему, со всей кровожадностью, как всегда расправлялся Дзержинский.

Отряд Попова уходил в Москву, в погоню за ним бросились чекистские отряды Эйдука. Схваченный на вокзале, переодетый и бритый Александрович, который только вчера еще спас Лациса от смерти, был этим же Лацисом немедленно расстрелян.

В подвалах ЧК кипело мщение, бессудные расстрелы пачками всех не только виновных, но даже заподозренных. «Всякое сопротивление выжечь с корнем», вот директива Дзержинского. Дзержинский в борьбе не знает сантиментов. Началась новая вспышка коммунистического террора.

И все же страна еще не была покорена татарским игом коммунистов. Еще находились силы для ответа террором на террор. И когда Дзержинский расстреливал в тюрьмах людей, не имевших к восстанию никакого отношения, исключительно с целью показать, что такое красный террор, в этот момент на одинокой петербургской улице выстрелом из револьвера рабочий Сергеев убил ехавшего в автомобиле сатрапа Петербурга — Володарского.

А вслед затем раздались новые выстрелы: — в председателя петербургской ЧК Урицкого и в председателя совнаркома Ленина.

В начале 11-го часа утра 30-го августа в Петербурге из квартиры на Саперном переулке вышел, одетый в кожаную куртку двадцатилетний красивый юноша «буржуазного происхождения», еврей по наци-

ональности. Молодой поэт Леонид Канегиссер сел на велосипед и поехал к площади Зимнего Дворца. Перед министерством иностранных дел, куда обычно приезжал Урицкий, Канегиссер остановился, слез с велосипеда и вошел в тот подъезд полукруглого дворца, к которому всегда подъезжал Урицкий.

— Товарищ Урицкий принимает? — спросил юноша у старика швейцара еще царских времен.

— Еще не прибыли-с, — ответил швейцар.

Поэт отошел к окну, выходящему на площадь. Сел на подоконник. Он долго глядел в окно. По площади шли люди. В двадцать минут прошла целая вечность. Наконец, вдали послышался мягкий приближающийся грохот. Царский автомобиль замедлил ход и остановился у подъезда.

Прибыв с своей частной квартиры на Васильевском острове маленький визгливый уродец на коротеньких кривых ножках, по утиному раскачиваясь, Урицкий вбежал в подъезд дворца. Рассказывают, что Урицкий любил хвастать количеством подписываемых им смертных приговоров. Сколько должен был он подписать сегодня? Но молодой человек в кожаной куртке встал. И в то время, как шеф чрезвычайной комиссии семенил коротенькими ножками к лифту, с шести шагов в Урицкого грянул выстрел. Леонид Канегиссер убил Урицкого наповал.

За быстро поехавшим на велосипеде убийцей погналась погоня. У набережной возле английского клуба Канегиссера схватили. И вскоре мстивший за террор Канегиссер был расстрелян в Петербургской ЧК.

Из Москвы в день убийства экстренным поездом в Петербург расправляться за Урицкого выехал сам Дзержинский. Но Урицкий в дворцовом вестибюле упал в 11 часов утра, а вечером того же дня в Москве раздался другой выстрел «центрального акта», направленный в вдохновителя авантюры во всемирно-историческом масштабе — в Ленина.

Пройди эта пуля на полсантиметра правее и выстрел мог бы в тот момент уничтожить диктатуру коммунистической партии над страной и история революции повернулась бы иначе.

Выстрел прозвучал во дворе завода бывшего Михельсон на Серпуховской улице в Москве. На заводе — многолюдный митинг. Ленин приехал к вечеру на сильной кремлевской машине. Прошел в мастерские. И вскоре к шофферу, развернувшему машину на дворе, подошла невзрачного вида женщина с острыми чертами лица.

— Кажется, товарищ Ленин уже приехал? — спросила у шоффера Фанни Каплан.

— Не знаю, кто приехал, — отвечал кремлевский шоффер.

— Как же это? Вы шоффер и не знаете, кого возите? — тихо засмеялась женщина и спокойно пошла от него в мастерские.

Прошел час. Митинг кончился. Из мастерских начала выходить толпа, заполняя широкий заводский двор. Наконец, вышел и Ленин, окруженый коммунистами. Но к машине он продвигался медленно, густая толпа обступила его, многие задавали вопросы. Не доходя до автомобиля, Ленин остановился, две женщины жаловались диктатору на насильственную политику компартии в деревнях, на отобрание хлеба заградительными отрядами, на бессудные расстрелы крестьян.

— Совершенно верно, есть много неправильных действий у заградительных отрядов, но это все безусловно устроится, — отвечал женщинам великолепный демагог.

И при последних его словах один за другим раздались выстрелы. Ленин, как сноп, повалился на землю. «Убили, убили!» закричала толпа и все шарахнулись в стороны, убегая со двора.

По опустевшему двору шоффер и члены завод-

ского комитета несли к машине смертельно раненого Ленина. Через полчаса Ленин лежал в палате Кремля, окруженный светилами московской медицины. А схваченная Фанни Каплан стояла в ВЧК на допросе перед Курским, Свердловым, Аванесовым.

Эта тройка заменила выехавшего в Петербург Дзержинского. Но на допросе у Курского Каплан «дала чрезвычайно мало». И только потом, уже поздно ночью в узкой темной комнате, освещенной только лампочкой на письменном столе, «я — пишет Петерс, — начал допрашивать Каплан. И тут она стала давать кое-какие сведения. Было установлено, что фамилия, которую она дала, является неправильной, но она отказалась назвать свою настоящую фамилию. На второй день ночью, когда я ее снова допрашивал, она стала говорить больше. В конце концов, она заплакала, и я до сих пор не могу понять», — прикидывается наивным Петерс, — «что означали эти слезы, или она поняла, что совершила самое тяжелое преступление против революции или это были просто утомленные нервы? О своих соучастниках в покушении Каплан ничего не сказала».

Вернувшийся из Петербурга Дзержинский, где он заменил убитого Урицкого отвратительным садистом Глебом Бокием, подписал смертный приговор Каплан. И теперь вся Россия ждала мести Дзержинского.

Дзержинский ответил морем крови. В Москве, в Питере, по всей России по приказам Дзержинского началась кровавая баня. Насколько в бессмыленно-животном ужасе от выстрела в Ленина заметалась сначала компартия, чувствуя, что с его гибелью конец диктатуры близится с невероятной стремительностью, настолько ж с такой же озверелой злобностью вместе с Дзержинским партия начала требовать безудержной мести. «Гимном рабочего класса отныне будет гимн ненависти и мести», писала «Правда».

Страна замерла в ужасе. И они начались эти расправы «истерического» террора.

В ответ на выстрел Канегиссера Зиновьев в Петербурге приказал расстрелять в одну ночь 500 человек заключенных, *взятых по алфавиту*. Глеб Бокий не заставил себя упрашивать, он в несколько дней расстрелял 1300 человек, заключенных в Петербурге.

В Кронштадте за одну ночь были расстреляны 400 человек. В Финском заливе в одном имении на берег были выброшены десятки трупов потопленных офицеров. Эти казни на языке Бокия назывались «искупительными жертвами».

Такому же террору в Москве дал волю Дзержинский. Сидевшие в те дни в московских тюрьмах называют это время «дикой вакханалией красного террора».

«Тревожно и страшно было слышать по ночам, а иногда и присутствовать при том, как брали людей десятками на расстрел. Приезжали автомобили и увозили свои жертвы, а тюрьма не спала, трепеща при каждом автомобильном гудке. Вот войдут в камеру и вызовут «с вещами по городу» или «в комнату душ», значит — на расстрел. И там будут попарно связывать проволокой. Если бы вы знали, какой это был ужас!» — пишет сидевший в тюрьме известный историк С. П. Мельгунов.

«В памяти не сохранились имена многих уведенных на расстрел из камеры в эти «ленинские дни», но душераздирающие картины врезались и вряд ли забудутся до конца жизни», — пишет другой заключенный, — «Вот — группа офицеров. Через несколько дней после выстрела Каплан они вызываются в «комнату душ». Некоторые из них случайно взяты при облаве на улице. Сознание возможности смерти не приходило им даже в голову, они спокойно подчинились своей судьбе — сидеть в заключении. И вдруг — «в комнату душ». Бледные собирают они вещи. Но од-

ного надзиратель никак не может найти. Он не отвечает, не откликается. Поименная проверка. Наконец, он обнаруживается, он залез под койку, его выволакивают за ноги. Неистовые звуки его голоса заполняют весь корридор. Он отбивается с криком — «За что? Я невиновен! Не хочу умирать!» — Но его осиливают, вытаскивают из камеры и они исчезают все и снова появляются во дворе... звуков не слышно: рот заткнут тряпками...»

По директиве Дзержинского террор прокатился из центра по всей России. Не было ни одной губернской или уездной чеки, которая не расстреляла бы в отместку за эти выстрелы десятков и сотен невинных людей. Вся кровавая сеть чрезвычаек Дзержинским была приведена в действие. Расстреливали где попало, у тюремной стенки, в подвалах, в оврагах, в лесах, расстреливали кого попало: монархистов, республиканцев, социалистов, зажиточных крестьян, интеллигентов, буржуа, офицеров, священников.

На чекистском языке это называлось «противозаразной прививкой». И Дзержинский привил ее в такой дозе, что страна замерла в кладбищенской тишине. Всякое террористическое сопротивление казалось конченным.

Но через год, 25-го сентября 1919 года, когда в особняке графини Уваровой в Леонтьевском переулке во главе со своими вождями заседал московский комитет коммунистической партии — от полуторапудовой бомбы, начиненной динамитом и пироксилином, особняк задрожал и потолок рухнул, погребая под собой коммунистов. Это акт — смертельной ненавистью ненавидевшего полицейскую диктатуру коммунизма Доната Черепанова, связавшегося с главой анархистов подполья рабочим Казимиром Ковалевичем.

Властный Торквемада коммунизма Дзержинский необычайно остро восприниял этот террористический акт. Дзержинский считал всякое сопротивление сло-

мленным. Взрыв же в Леонтьевском переулке показывал, что в стране есть еще силы. Новое вскрытие вен народу Дзержинским было решено. По рассказу коменданта МЧК Захарова бледный, как полотно, взволнованный свыше меры, с трясущимися руками и прерывающимся голосом Дзержинский прямо с места взрыва приехал в МЧК, отдав приказание, расстреливать по спискам «всех кадетов, жандармов, представителей старого режима и разных там князей и графов, находящихся во всех местах заключения Москвы, во всех тюрьмах и лагерях». Одним словом Дзержинского на немедленную смерть были обречены многие тысячи человек.

Вслед за Москвой заработала вся сеть чрезвычаек, топя в крови попытку сопротивления власти. Вместе с террором Дзержинский пустил в ход весь свой провокаторско - шпионский аппарат, дабы схватить виновников взрыва в Леонтьевском.

Сведения, получаемыя Дзержинским, говорили, что к взрыву причастен его старый знакомый Донат Черепанов, в июльские дни доставивший Дзержинскому не мало неприятных минут. Начались поиски, провокация, подкупы, аресты и «ночные допросы» каждого, кто только мог быть «нитью» для поимки Черепанова и Ковалевича.

На следы анархистов при помощи провокаторов Дзержинский напал довольно-таки быстро. Их главный штаб — дачу в Краскове — в одну октябрьскую ночь оцепили чекистские отряды

Сдаваться живьем анархисты во главе с Ковалевичем не пожелали. Дали бой, отстреливаясь из револьверов и под конец, видя, что силы на стороне чекистов, бросив бомбу, взорвали дачу. При взрыве погиб Казимир Ковалевич и все семь человек штаба «воинов черного знамени».

В другой засаде чекистами были схвачены анархисты во главе с Барановским. Для характеристики

этих людей и методов «ночных допросов» Дзержинского колоритны показания некоторых из арестованных анархистов. Так, обращаясь к Дзержинскому через председателя МЧК Манцева, которому Дзержинский поручил следствие по этому делу, уже сломившийся заключенный анархист Тямин писал:

«МОЯ ПРОСЬБА

Вы просите песен — их нет у меня, но что знаю о жизни и деятельности организации, сообщу... Все что вам необходимо знать о Заваляеве, я вам скажу. Но только прошу оставить его в покое, ибо я его слишком люблю. Относительно его фамилии пусть он сочтется для всех Заваляевым, а для вас и для меня —моим братом. Не копайтесь в его душе, вы чуткий человек, вы должны понять как тяжело для него такое положение, в котором он является ни более ни менее, как козлом отпущения чужих преступлений. Он задержан только потому, что был знаком с Ковалевичем и только. Товарищ, я прошу вас, если вам нужны жизнь или кровь невинного человека возьмите мою, но отпустите его, а еще лучше дайте возможность уехать ему к матери в Харьков. Отпустите его, неужели вам непонятны чувства сына к матери? Ничего собщить он вам не может, все, что он знает, знаю и я, зачем он вам? Я остаюсь тут, я не верю в свое спасение. Вам, как личности, я верю, но вам, как определенному учреждению, плохо верю. Говоря все, я исходил отнюдь не из желания спасти себя, я знаю, что если меня не расстреляют, то дадут несколько лет тюрьмы, что равносильно смерти, ибо я страшно слаб. Я даю честное слово, что сам лично с помощью ваших сотрудников возьмусь за розыск. Возможно, нам удастся найти связь с левыми эс-эрами. Но одно прошу, отправьте Заваляева к матери. А мне дайте какую-нибудь работу. Или кончайте скорее, меньше агонии.

Уважающий Вас *Михаил Тямин*».

Эти просьбы сломившегося анархиста спасти жизнь его брата у Дзержинского и Манцева в лучшем случае могли вызвать саркастическую улыбку. В революции дело ведь не в чувствах братьев Тяминых. Михаила Тямина Дзержинскому нужно было пытнуть для того, чтобы он указал хоть какую-нибудь нить связи анархистов с левыми эс-эрами и чтоб, идя по этому следу, Дзержинский схватил бы опасного ему Доната Черепанова.

Ведь дискутировалась же открыто в журнале Дзержинского «Еженедельник ВЧК» допустимость самых настоящих физических пыток с точки зрения революционного марксизма? А потом, после пыток, когда Тямин станет ненужным, то, разумеется, не резон же отпустить его в Харьков к матери? Резон — спустить его в подвал к Эйдуку. А насчет там чувств сына к матери, это — «отрыжка мелкой буржуазии».

По записной книжке убитого анархиста Соболева и через провокаторов Дзержинский напал-таки на след Доната Черепанова, главы «Всероссийского Штаба Революционных Партизан». И 17-го февраля 1920 года Дзержинский праздновал победу.

Организатора взрыва в Леонтьевском переулке Доната Черепанова на московской улице, напавши сзади, схватили чекисты. Это было сделано так ловко, что Черепанов не успел даже оказать сопротивления. Вместе с ним схватили и любимую им женщину, террористку Тамару Гаспарьян.

Заключенного в одиночку на Большой Лубянке 11 Черепанова чекисты охраняли с особой бдительностью. К его камере были приставлены два бессменных часовых, которым приказывалось не спускать с Черепанова глаз.

Многие сламывались в ЧК. Но Донат Черепанов не из ломких. В нем было слишком много самоотверженности борца и ненависти к полицейскому

коммунизму. Он отказался разговаривать с кем бы то ни было, кроме главы террора Дзержинского.

В кабинете Дзержинского шли долгие и странные ночные уговоры Черепанова Дзержинским, окруженным всей головкой ВЧК. Дзержинский уговаривал Черепанова сдаться, перейти к коммунистам, как благополучно перешло уже много левых эс-эров. Но назвав своих бывших товарищей «предателями и подлецами», Черепанов в застенке ЧК проявил необычайное мужество, на все предложения Дзержинского отвечая неизменным отказом.

Да, вероятно, и со стороны Дзержинского это была только уловка, дабы публично скомпрометировать врага, как позднее был скомпрометирован заманенный из заграницы через провокаторов и схваченный Борис Савинков.

Все уговоры Черепанова Дзержинскому пришлось бросить и перейти к преддверию казни — «допросу».

На официальный вопрос Дзержинского, признает ли Черепанов себя виновным во взрыве в Леонтьевском переулке — этот самый отчаянный лидер левых социалистов-революционеров, боровшийся за демократические советы Черепанов показал:

«— Да, я совместно с Казимиром Ковалевичем организовал Всероссийский Штаб Революционных Партизан, который своей целью поставил ряд террористических актов. Эта организация провела взрыв в Леонтьевском. Подготовка взрыва, выработка плана и руководство до самого последнего момента были возложены на меня. В самом же метании бомбы по постановлению штаба я участия не принимал. Не будь этого постановления я бы охотно принял на себя и метание бомбы. До того как остановиться на террористическом акте этот вопрос дебатировался у нас в штабе. Предлагалось бросить бомбу в Чрезвычайную Комиссию, но это предложение было откло-

нено, потому что Чрезвычайка, и вы, гражданин Дзержинский, являетесь орудием партии и, следовательно, во всей политике ответственна партия. Мы и метали бомбу в собрание ответственных работников коммунистической партии, тем более, что на этом собрании предполагалось присутствие гражданина Ленина. Этот акт, по нашему мнению, должен был революционизировать массы и указать путь, по которому должны итти настоящие революционеры: — путь террора и ударов по головке насильников».

«— Известно ли вам, что при взрыве пострадало много незначительных работников партии?» — спросил Дзержинский.

«— Так что ж из этого? Ваша Чека в этом отношении не лучше», — отвечал Черепанов.

И на последний вопрос Дзержинского, не сожалеет ли о своем поступке Черепанов, он, революционер, выступивший против «власти рабочих и крестьян» с бомбой в руках, Черепанов ответил:

«— Сожалею только об одном, что при аресте меня схватили сзади и я не успел пристрелить ваших агентов. То, что сейчас вами творится, — это сплошная робеспьериада!»

На этом Дзержинский окончил допрос Черепанова. Для Дзержинского все было ясно. И он «сделал знак». Но Черепанова вовсе не расстреляли в подвале китайцы и латыши. Дзержинский пощадил его, Черепанова удушили в камере, набросившиеся на него чекисты. А «заодно» уж удушили в другой камере и любимую Черепановым женщину Тамару Гаспарьян.

На стене в одиночке Черепанова осталась только сделанная им надпись: «Схвачен на улице 18 февраля 1920 года сзади за руки ленинскими агентами».

Больше до конца жизни Дзержинского громкого террористического акта против диктатуры коммуни-

стической партии не было. Страна захлебнулась в крови и лежала без пульса. В ответ на его террор раздавалось теперь только «яблочко», выкатившееся с ночной улицы московского дна:

«Эх, яблочко, куда котишься,
В ВЧК попадешь — не воротишься!»

16. СМЕРТЬ ДЗЕРЖИНСКОГО

Время шло. Фронтов гражданской войны не существовало. Из Красной Москвы в хорошо сшитых фраках поехали в Европу советские дипломаты, и с авансцены Кремля Ленин решил куда-то вглубь кулис убрать «ужас буржуазии» Дзержинского.

Дзержинского спрятали.

В 1921 году уйдя с поста председателя ВЧК, он стал народным комиссаром путей сообщения. Дабы смыть с этой фигуры кровь, многие коммунисты стали развивать довольно бездарную легенду о «золотом сердце» Дзержинского.

«Он не любил говорить о том, что происходит в его душе в бессонные ночи, но время от времени у него прорывались слова, показывающие, как нелегко ему было», писал мастер на все руки Радек. И он же лирически вспоминал, что в 1920 году, когда красные войска шли на Варшаву, а сзади ехало советское польское правительство во главе с Дзержинским, последний, якобы, сказал: «После победы в Варшаве возьму наркомпросс». А когда окружавшие его коммунисты над таким скромным желанием рассмеялись, Дзержинский, по словам Радека, «съежился».

Странная чувствительность. Раньше Дзержинский не раз выражал желание, после советской революции в Польше лично расстрелять Пилсудского.

— Я сам поставлю его к стенке и рас-стре-ля-ю!

Но может быть, правда, что Дзержинский не захотел лить польскую родную кровь так, как он лил русскую? Может быть, кровь вообще уж утомила? Кто знает? Было б неудивительно, если б Дзержинский за четыре года устал от тюремного воздуха, арестов, неистового шума заведенных моторов, ночных допросов, криков, слез, стонов, проклятий, смертных приговоров и рапортов о расстрелах. Коммунистические биографы пишут что в 1921 году Дзержинский «стал необычайно нервен и раздражителен и часто говорил, что сердце работает неладно». Было от чего стать.

И вот коммунистический Торквемада — в роли министра путей сообщения. Перемена неожиданная, но коммунистическое государство — страна безграничных неожиданностей.

За четыре года гражданской войны техническое разрушение русского транспорта достигло таких гомерических размеров, что, казалось, Россия возвращается ко временам московского государства. Железнодорожная сеть не представляла уже целого, прерывалась, разрывалась; разрушенный путь, сгоревшие здания, взорванные мосты; больные паровозы и вагоны, миллионы сгнивших шпал и на сотни верст отслужившие службу рельсы. Железные дороги, в сущности, почти что бездействовали. Достаточно было пройти большому снегу, чтобы останавливались поезда. И событием государственной важности было движение одного поезда с несколькими вагонами хлеба, направляющегося в Москву, за которым следил «сам Ленин» и ему по телефону доносили, на какой станции застрял поезд и куда пошли пассажиры, чтобы нарубить дров, дабы поезд снова сдвинулся с места.

Транспортную разруху Кремль решил исправлять террористическими мерами, к возглавлению которых, кто и подходил как не Дзержинский. Прав-

да, его назначение вызвало среди железнодорожников панику. Перспектива была ясна: расстрелы пришли на железную дорогу. И железнодорожники не ошиблись. Меры — единственны.

О той панике среди специалистов, которую внушала кровавая фигура Дзержинского, хорошо рассказывает крупный советский спец, делавший доклад в Кремле в кабинете Рыкова: — «Я докладывал и настаивал на отпуске большой суммы на одно крупное советское предприятие, которым в это время руководил. Рыков, по облику захудалый сельский учитель, ходил по большой комнате и как всегда, когда он возбужден, сильно заикаясь, спорил со мной, теребя серебряную часовую цепочку. Украинский чекист Владимиров, не поднимая глаз, чертил по бумаге, а Дзержинский, сидя в углу, как случайный посторонний человек, не отводя глаз, смотрел на меня. Уверяю вас, я не трус, я видел опасность и смерть во многих случаях моей жизни, никогда не терял спокойствия и ясности мыслей при допросах в чека, но тут под этим ледяным взглядом змеиных глаз мне стало не по себе. Было трудно сосредоточиться, было трудно держать в порядке нить мыслей, следить за возражениями Рыкова и ему отвечать. Мне казалось, что холодные зрачки пронизывают меня насквозь подобно лучам рентгена и, пронизав, уходят куда-то в каменную стену».

Будучи человеком, проведшим всю жизнь в тюрьме в качестве заключенного и в качестве тюремщика, Дзержинский был сведущ только в деле транспорта людей на тот свет. В путейской фуражке кровавая фигура Дзержинского была не только страшна, но и смешна благодаря своему невежеству. Все приказы Дзержинского пестрят одной исключительно-характерной для этого неумного фанатика чертой; все пишется в превосходной степени: — «колоссальнейшее уплотнение», «величайшая экономия»,

«труднейшие задачи», «скорейшее выполнение», «громаднейшие затруднения», и в то же время *на деле* этот террористический инженер занят сумасшедшими пустяками и юмористическими мелочами.

Вот Дзержинского взволновала продажа билетов в кассе гостинницы «Метрополь» и тут же — строжайший приказ в Транспортное ГПУ — «выяснить (без шума) всю постановку дела и доложить мне для упорядочения». Вот министра, налаживающего транспорт на шестой части света заволновал вопрос о «зайцах» в поездах. И снова летит бумага в Транспортное ГПУ: — «А как у нас с «зайцами»? Какой подбор контролеров, не жулье ли это? Я определенно подозреваю, что у нас многие подкуплены». Вот вопрос о железнодорожных жезлах беспокоит всесильного Дзержинского, он подозревает, что с жезлами тоже что-то неладно и, вероятно, «тут кто-нибудь подкуплен». Но вот министра путей сообщения заволновало еще большее зло... крысы: Дзержинский пишет, что он узнал, что «в багажных отделениях бегают крысы. Очевидно, портят имеющиеся там грузы. Разве нельзя их истребить? Очевидно, развелось их очень много, если не стесняются людей?» И крысы истребляются по приказу Дзержинского.

Можно подумать, что это не цитаты из подлинных приказов Дзержинского, а выдержки из грустной юмористики Салтыкова-Щедрина. В распоряжениях министра-чекиста юмористика бесконечна. Но, увы, несмотря на миллиардное количество входящих и исходящх, на море лозунгов, на километрические резолюции, пропагатор Дзержинский в роли хозяйственника не преуспевает, хоть и гневается, и требует, чтоб его окружали не инженеры, контролеры, стрелочники, а сплошь — «борцы, одушевленные великой идеей».

Ленин, человек с весьма развитой практической

сметкой, сразу понял, по свидетельству Троцкого, что Дзержинский на хозяйственном посту «никуда не годится». Но куда ж деть эту кровавую куклу октябрьского паноптикума? Она столь грандиозна, что спрятать ее некуда. К тому же Дзержинский вовсе не из тех, кого ублажишь мелочью. Вельможный пан невероятно честолюбив, ему нужна работа во всемирном масштабе.

И ленинская оценка, не исправив дела, только подлила масла в огонь той дворцовой склоки, которую вели Троцкий и Сталин. Сталин хорошо знал силу этой мыслящей гильотины: на чью сторону она встанет, тот и будет «вождем». И в борьбе за власть Сталин прекрасно использовал уничтожающую оценку Лениным Дзержинского: оскорбленный министр примкнул к Сталину.

«Охлаждение между Лениным и Дзержинским началось тогда, когда Дзержинский понял, что Ленин не считает его способным на руководящую хозяйственную работу», пишет Троцкий, «это и толкнуло Дзержинского на сторону Сталина. Со смертного одра Ленин направлял свой удар против Сталина и Дзержинского...»

Но — поздно. В кремлевской склоке вождей ставка Дзержинского оказалась правильной. Паралич Ленина прогрессировал. На пятом году революции Ленин уже только мычал, а на шестом перестал и умер.

Борьба придворных пошла со всей ожесточенностью. И в этой борьбе Сталина против Троцкого Дзержинский сыграл заглавную роль в момент, когда стоял кардинальный вопрос: — за кем пойдут войска ГПУ, за Троцким или за Сталиным?

На назначенное собрание-монстр всех чекистов приехал сам Дзержинский. Здесь речь представителя троцкистов, Преображенского, часто внезапно прерывалась сочувственными аплодисментами и по-

ложение грозило накрениться на сторону Троцкого.

Тогда-то и выступил Дзержинский. Он волновался необычайно, речь была бессвязна. Дзержинский умолял своих чекистов не итти за Троцким и вдруг среди речи, совершенно не владея собой, повернувшись к Преображенскому, он истерически закричал: — «Я вас ненавижу, товарищ Преображенский!» И снова: — «Я вас ненавижу, товарищ Преображенский!» С Дзержинским начался припадок. Зато битва Сталина выиграна. Видя такое волнение шефа, чекисты покачнулись и резолюция ЦК получила большинство.

Поддержавший Сталина Дзержинский, как бы в отместку Ильичу, несмотря на признанную негодность, получил, по смерти Ленина, высший хозяйственный пост в стране. В феврале 1924 года он стал председателем Высшего Совета Народного Хозяйства.

Диктатурно оглавив советское хозяйство, видная отовсюду багровая фигура Дзержинского, называемая коммунистами «исполинской», стала еще смешней и нелепей. «Продуманной концепции хозяйственного развития у Дзержинского не было», вежливо пишет Троцкий. Те ж превосходные степени о «величайшей инициативе», «энергичнейшей компании», «чрезвычайнейшей экономии», «огромнейших задачах» и по чекистской привычке, конечно, везде необходимость «хирургических методов».

«Знаю одно, если не найдете хирургического метода и хирургов — ни черта не выйдет! Доклады, доклады, доклады. Отчеты, отчеты, отчеты. Цифры, таблицы, бесконечный ряд цифр. Как взяться за дело? Здесь необходима хирургия Надо найти смелую и знающую группу людей и дать им нож, безапеляционный».

Человек большого честолюбия и малого ума Дзержинский не понимал свою нелепость на посту

председателя ВСНХ, хотя и у него бывали признания, что он «готов провалиться сквозь землю сидя на совещаниях и слушая как трест за трестом летит вверх тормашками».

Но амбициозность, самоуверенность, годы безграничной власти застилали все. К тому ж люди были настолько привязаны к Дзержинскому страхом, что на диктатора хозяйства, как из рога изобилия, сыпались угодливые просьбы о принятии шевства то над «Советским кинематографом», то над сомнительным предприятием «Ларек» и так далее и тому подобное.

Дзержинский принимал все, обрастая председательствованиями, шефствами, в своей фигуре иронически воплощая и террор и термидор. Он сильно изменился во внешности, нездорово растолстел, обрюзг, стал неузнаваем, от былого «аскета» осталась лишь прежняя саркастическая усмешка. Его фигура была хороша, как квинт-эссенция нелепости хозяйственной системы деспотического коммунизма.

В роли хозяйственного диктатора, 20-го июня 1926 года на трибуне перед высшим форумом коммунистической партии Дзержинский выступил с программной речью о хозяйственном положении страны и его перспективах. Эту речь, как всегда, Дзержинский произносил с необычайным волнением, с кучей превосходных степеней, путаясь, заикаясь, не улавливая собственных мыслей, отгрызаясь угрозами и ругательствами от наседавших на него довольно-таки сметливых ловкачей Пятаковых, Фигатнеров, Каменевых.

Голос Дзержинского переходил в срывы.

— «А вы знаете отлично моя сила заключается в чем! Я не щажу себя никогда! И поэтому вы все здесь меня любите, потому что вы мне верите!» — кричал Дзержинский все чаще прижимая обе руки к сердцу.

Слушатели думали, что это ораторский жест, а оказывается это сердце давало оратору сигнал, что оно устало биться в груди Дзержинского, оно отказывается.

Дзержинский сошел с трибуны и через два часа, упав на пол, умер от припадка грудной жабы. По столице поползли слухи о подмешанном яде, о самоубийстве. Дворцовые тайны Кремля питают венецианские темы. Но, нет, Дзержинский умер естественно.

После него остались сын, Ясек, признанный врачами «отягченным дегенерацией в тяжелой степени» и жена Софья Сигизмундовна, урожденная Мушкат, на которой женился Дзержинский еще в годы ссылки и которая при нем играла ту же бессловесную роль, что Альбертина при Марате. В мире нет человека, которому судьба не дала бы привязанности женщины.

На другой день по смерти Дзержинского начались коммунистические славословия в обязательно-елейном тоне и причитания плакальщиков в честь умершего вождя. Тут были и фальшь, но тут была и искренность.

Вместе с Дзержинским сама партия схватилась за сердце: — ушел наиболее яркий воплотитель полицейской диктатуры коммунизма. В лице Дзержинского из коммунистической машины выпал важный винт. Он был — тип идеального коммуниста, к тому же гениальный чекист. Он был абсолютно равнодушен к интересам страны, народа, ко всему кроме одного — диктатуры своей партии, то-есть диктатуры коммунистической аристократии. А об этом стоило плакать.

Максим Горький плакал: — «Нет, как неожиданна, несвоевременна и бессмысленна смерть Феликса Эдмундовича. Черт знает что!» Троцкий написал почти-что стихотворение в прозе: — «Закон-

ченность его внешнего образа вызывала мысль о скульптуре, о бронзе. Бледное лицо его в гробу под светом рефлекторов было прекрасно. Горячая бронза стала мрамором. Глядя на этот открытый лоб, на опущенные веки, на тонкий нос, очерченный резцом, думалось: — вот застывший образ мужества и верности. И чувство скорби переливалось в чувство гордости: таких людей создает и воспитывает только пролетарская революция. Второй жизни никто ему дать не может. Будем же в нашей скорби утешать себя тем, что Дзержинский жил однажды». И как во времена испанской инквизиции поэты спасались от подозрений соответствующими посвящениями своих стихов, так и во времена коммунистической инквизиции нашлись поэты, посвятившие стихи смерти «гениального чекиста».

Один из них, Николай Асеев, оплакал Дзержинского так:

«Время, время! Не твое ли зверство
Не дает ни сил, ни дней сберечь!
Умираем от разрыва сердца
Чуть прервав, едва окончив речь!»

Другой поэт оплакал по другому:

«И на меня от этих уст без вздохов
От острой бороды и утомленных век
Дышала наша новая эпоха
И мудрый новый человек».

К гробу вождя чекисты понесли венки; лучший из них, бесспорно, был привезен тульским ГПУ, венок был сделан из винтовок, револьверов и скрещенных шашек.

Правящая же партия среди прочего материала

выбросила на газетные столбцы жуткую цитату из самого Дзержинского: «Если б пришлось начать жизнь снова, я бы начал ее также». И утверждая в потомстве память о пролитой крови, страшную в сознании народа Лубянскую площадь, коммунистическое правительство переименовало в «Площадь Дзержинского».

МЕНЖИНСКИЙ

Когда Феликс Дзержинский уходил с поста начальника тайной коммунистической полиции, он сам выбрал своим заместителем Вячеслава Менжинского. Этому выбору головка партии удивилась. Как свидетельствует Троцкий: «все пожимали плечами».

— Но кого же другого? — оправдывался Дзержинский, — некого!

И Менжинский, поддержанный Сталиным, стал начальником ВЧК, переименованной в ГПУ. Перемена букв не была переменой сущности дела, в день пятилетнего юбилея этого кровавого ведомства Зиновьев писал: «буквы ГПУ не менее страшны для наших врагов, чем буквы ВЧК. Это самые популярные буквы в международном масштабе».

Между Дзержинским и Менжинским, как характерами, или точнее «клиническими типами», была разница. Но внешне, в биографиях было и кое-что общее. Оба — поляки, оба «враждебного пролетариату» дворянского происхождения, оба были чужды России; до революции первый видел ее из-за тюремной решетки, а второй глядел на Россию, либо с высот Альп, либо с холмов Монмартра.

Но в то время как Дзержинский был изувером-фанатиком, в Менжинском, в противоположность его «учителю», не было ни тени фанатизма, ни тени его

страстности. Этот бездельник и богемьен был человеком «без хребта».

Ненормально-расплывшийся брюнет, с рассеянной, развинченной походкой, поникшими плечами, болтающимися руками и блуждающим взглядом отсутствующих глаз Менжинский, по определению Троцкого, был даже не человеком, а только «тенью неосуществившегося человека, неудачным эскизом ненаписанного портрета». Иногда только вкрадчивая улыбка и потаенная игра глаз свидетельствовали, что этого человека снедает жажда выйти из своей незначительности и эта улыбка председателя ГПУ вызывала даже у Троцкого «тревогу и недоумение».

Такой портрет начальника коммунистической тайной полиции был бы даже хорош, если б его отодвинуть вглубь веков, в мафию Венецианской республики иль в кулисы заговоров времен Ришелье. Его странность в наш век объяснялась проще: у Менжинского «голубая кровь» явно загнивала: Менжинский с юности был тяжко больным человеком.

Оба вождя террора — люди некрупного калибра, но и у Менжинского перед Дзержинским были свои превосходства. В то время, как образование Дзержинского остановилось на брошюрах, и Дзержинский от природы был не щедро наделен умом, за что Ленин полуядовито называл его «горячим кровным конем», — Менжинский, в противоположность Дзержинскому был и образован и умен. Но ум и душа были нездоровы.

Упадочник, вырожденец, автор болезненно-извращенных стихов и символистско-эротических романов Вячеслав Менжинский был интересен тем, что принадлежал к довольно редкой категории большевиков. Глава коммунистической полиции, чьи портреты висят в канцеляриях концентрационных лагерей

СССР, был «декадент-марксистом». На коммунистическом Олимпе этот эстет должен был бы стоять рядом с очаровательным пошляком Луначарским, кого Ленин называл не иначе, как «наша прима-балерина».

Вячеслав Рудольфович Менжинский родился в дворянской и обеспеченной семье в Петербурге. Его отец, Рудольф Игнатьевич, заслуженный преподаватель пажеского корпуса, был лично известен Николаю II-му и любим царем.

Выросший в хорошей образованной семье будущий начальник ГПУ унаследовал прекрасные манеры, был воспитан, с детства превосходно владел французским языком. Окончив средне-учебное заведение, Менжинский поступил в Петербургский университет на юридический факультет.

Худой, бледный брюнет, очень холеного и очень девического облика, этот болезненно-застенчивый юноша, прозванный товарищами «Вяча — божья коровка», под всей своей застенчивостью был снедаем мечтой стать «либо знаменитым адвокатом, либо знаменитым писателем».

Вместе с изучением юриспруденции Менжинский занялся и литературными опытами. Судьба иногда жестоко сводит людей. В те годы в студенческом полу-литературном, полу-революционном петербургском кружке девически-застенчивый студент Вячеслав Менжинский встречался с бурным студентом Борисом Савинковым. Оба студента интересовались литературой. Савинков писал талантливые стихи. Менжинский пробовал декадентские романы. С первых же встреч эти студенты стали инстинктивными и непримиримыми врагами, и это было естественно, ибо декадентская «тень человека» и сангвинический Савинков были очень разны.

Их дороги из кружка разошлись надолго. Но через тридцать без малого лет, революции было угодно, чтобы террориста и бывшего военного министра

Савинкова в Париже в 1924 году спровоцировали, заманив в ловушку, агенты вождя тайной коммунистической полиции и чтобы именно Менжинский, уже тяжело больной, укутанный в пледы, лежа на диване в своем инквизиторском кабинете, допрашивал схваченного и привезенного на Лубянку, нелегально перешедшего границу России, Савинкова.

Того, чего хотел Менжинский, — «известности» — он достиг. Но из юношеских мечтаний о путях «знаменитости» у Менжинского ничего не вышло. Литературные попытки кончились написанием бесталанного декадентски-эротического романа, в котором Менжинский с предельной откровенностью рассказал историю своего собственного неудачного брака и разрыва с женой.

Не меньшее фиаско потерпел Менжинский и в карьере «знаменитого адвоката». По окончании университета он поступил помощником к известному присяжному поверенному князю Г. Д. Сидамон-Эристову, но не обнаружил решительно никаких талантов. И тогда для «знаменитости», о жажде которой говорила только застенчивая улыбка робкого молодого человека, осталась еще дорога — дорога революции.

Трудно понять, почему и как «декадентские романы» и «болезненно-извращенная поэзия» в молодом Менжинском переплетались с попытками революционной работы. Правда, эти попытки были очень скромны. Но все же связи с революционными кружками и революционным подпольем у Менжинского начались.

Фрейдисты, вероятно, усмотрели бы в пути Менжинского в революцию следствие тяжких душевных комплексов, отвели бы должное место разрыву с отцом и неудачному браку; может быть, они были бы и правы. Во всяком случае путь дегенеративного и очень странного юноши в революцию не дикто-

вался ни чувством классовой борьбы, ни тем более жаждой социальной справедливости. Наоборот, именно Менжинскому принадлежит определение масс, как «социалистической скотинки».

Менжинский был натурой замкнутой, одиночной и тяжело больной. Ясно только, что путь в революцию наряду с другими «сложностями» души был несомненно обусловлен и непомерным честолюбием, раскольниковской жаждой «выйти из своего состояния ничтожества», что, кстати, подтверждает и Троцкий.

И как бы то ни было, революционная карьера открылась. Она была очень бледна. Как это ни парадоксально, у начальника ГПУ биографии революционера не было. Менжинский не знал ни тюрем, ни ссылок, ни арестов. Но перед 1905 годом он вступил в социал-демократическую партию и единственным бесспорным этапом «революционной» карьеры Менжинского было редактирование им в 1905 году легальной ярославской газеты, где молодой редактор-эстет в довольно невразумительных статьях, но между прочим, трактовал и «о робеспьеровских методах расправы с противником в момент революции».

Тогда, дальше Ярославля эти декадентско-робеспьеровские рассуждения не ушли. А вскоре при наступлении реакции, никогда не стеснявшийся в деньгах, ибо он жил на средства брата, богатого банковского дельца, Менжинский бросил и Россию и бледно начатую революционную карьеру. Он уехал в Париж.

Заграницей Менжинский занимался «всем понемногу», он был типичным «ничто», бульвардье «без дел», то он решает стать лингвистом и начинает с изучения японского языка, то хочет стать художником и берется за кисть. Может быть, еще посейчас в старинных лавках Монмартра найдется какой-нибудь плохенький парижский пейзаж или «натюр-морт» с

подписью Менжинского. Для музея революции такая художественная находка, акварель начальника ГПУ, была бы не менее ценна, чем поэма председателя ВЧК.

Менжинский был типичным диллетантом, неудачником. Чем он только в Париже ни занимался, религией, философией, марксизмом, «богостроительством», «богоискательством» и всеми «изломами» и «изгибами» того декадентского предвоенного времени. В литературе его любимым автором был Стриндберг, чьи женоненавистнические идеи разделял утонченный Менжинский.

Но никакой революционной вехи заграницей Менжинский в свою биографию так и не вписал. Он вел обеспеченную жизнь, появляясь изредка в эмигрантских революционных кругах. Встречавшийся с ним в марксистских кружках Ленин к этому «неврастенику-декаденту» относился со свойственной ему цинической, грубо-нескрываемой насмешкой. Может быть, именно эти частые насмешки и издевки и заставили болезненно честолюбивого, по-раскольниковски мечтавшего выйти из ничтожества Менжинского затаить злобу против «революционной вертихвостки», как он называл Ленина и обрушиться на него при первом случае.

Этот случай, не лишенный пикантности, представился Менжинскому в 1909 году, когда заграницу пробрался некий маленький человечек, скрывавшийся под псевдонимом Саша Лбовец. Саша был членом экспроприаторской организации, оперировавшей на Урале под атаманством некоего рабочего Лбова, бывшего унтер-офицера, ушедшего в революцию.

В те бурные дни Лбов с товарищами ограбили на Каме не один пароход, а на суше остановили не одну почтовую тройку. Организация располагала крупными деньгами. Но вот из этих-то денег через Сашу Лбовца и выдал уральский экспроприатор Лбов гла-

ве большевицкого центра товарищу Ленину неплохую сумму в 6.000 рублей — на покупку оружия.

Деньги Ленин взял, но оружия не купил и куда истратил неизвестно. Порбравшийся за границу Саша пожаловался об этом врагу Ленина — Менжинскому. А Менжинский, дабы ударить по «революционной вертихвостке», составил Саше «открытое письмо» с обвинением Ленина в присвоении денег и напечатал это письмо отдельным листком.

«ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО БОЛЬШЕВИЦКОМУ ЦЕНТРУ

(расширенной редакции «Пролетарий»)

Товарищи! опять вы за старое, опять начинаете увиливать и тянуть; опять не хотите даже вопроса рассматривать, был ли Большевицкий Центр должен Лбовской дружине или нет, а неизвестно, за что и почему предлагаете нам целых 500 рублей. Почему не меньше? Почему не больше? Что это за цифра такая?

Оставьте! Вы достаточно вертели хвостом с июля 1907 года, когда взяли у меня, уполномоченного Партизанского Пермского Революционного отряда (так называемой лбовской дружины) 6000 рублей на покупку оружия.

Вспомните, товарищи, когда мы вынуждены были бежать из Финляндии, преследуемые полицией, как травленые волки, и когда Мишка Паршенков обратился к вам и просил дать хоть сколько-нибудь на ночевку и вы отказали. Через несколько дней после удачного сопротивления на 14-ой линии и неудачного на Обводном, его взяли на улице, скитавшегося без денег и ночевки. Смертью своей заплатил он за свое доверие к вам.

Но почему же вы отказали? Может быть, вы считали, что вы ничего не должны? Я не думаю, ибо через несколько дней вы предложили мне 300 руб-

лей с тем, чтобы я уничтожил расписку. Неужели вы думали что за 300 рублей я, как Иуда Искариот, под влиянием нужды и безработицы продам вам товарищеские деньги?

Вспомните, товарищи, как впоследствии через другого члена вашего ЦК и БЦ вы официально обещали мне к 18 марту 1908 года выплатить 3000 рублей и не платили. Наконец, когда я обратился в Париже к вам, вы через члена тех же высоких учреждений, товарища Красина, предлагали мне в расчете на мое безвыходное положение 200 франков, а теперь вы даете, как на торгах отступного, 500 рублей с тем, чтоб я отдал вам вашу расписку.

Товарищи, бросьте эту игру, которая тянется два года. И так вы нам много навредили: обязались за деньги достать оружие и оставили безоружными против солдатских винтовок в самую решительную минуту, а теперь в «Пролетарии» попрекаете Лбова, что он оказался не таким страшным, как его малевали. К чему это издевательство?

Деньги вы взяли, заключили договор, как с равными, письменный, за всеми подписями на бланке ЦК. Все гарантии! А затем распустили свою военно-техническую группу, не дав нам револьверишка поганого. И все эти годы, когда лбовцев вылавливали одного за другим, когда они сидели голодные и оборванные, месяцами ожидая то помощи, то смерти, когда у них чистой смены не было, в чем выйти на казнь, вы, товарищи из БЦ, пользовались нашими деньгами. Неужели вы ждете, когда всех нас переловят и повесят, когда некому будет требовать уплаты, ждете, что неприятный вам долг будет задушен рукою палача?

Неужели можно вести так революционное дело? Выжать людей, как лимон, и бросить на дорогу: «пусть топчут, а мы не при чем».

Товарищи, не может этого быть, чтобы рабочие снесли такую несправедливость, да и как же револю-

цию делать ,если надувать друг друга, да еще на оружии.

У вас не вооружение народа выходит, а барышничество, афера. Что купец банкрот, что вы. Деньги забрал, шубу вывернул и опять торгуй сначала. Так, ведь, здесь не торговля, а жизнь человеческая. Да и купец не всякий виселицами спекулировать станет, а мы с вами революционеры.

Обращаюсь к вам, товарищи рабочие! Помогите!

Саша».

В эмигрантских кругах авторство Менжинского в письме Саши Лбовца было секретом полишинеля и, естественно, что у Ленина оно не прибавило дружеских чувств к изучавшему «двенадцать языков» снобу Менжинскому.

Вокруг неврастеника-сибарита, жившего «не у дел» и «без дел», цвела насмешка и ирония ленинцев. Грязная подпольная склока и перепалка этих будущих вельмож, но пока еще голодных эмигрантов, особенно обострилась, когда ко всей этой грызне прибавилась «декадентская любовная история» с похищением Менжинским одной из большевицких жен. Густой, бесовский аромат шел от этого эмигрантского букета, сложенного вокруг самого махрового цветка, Ленина.

Но с «великим учителем» Менжинский продолжал сводить свои счеты. Во второй раз он ударил по Ленину двумя статьями «Мертвые души» и «Ленин», напечатанными в эс-эровском журнале «Наше эхо».

В первой статье, описывая большевицкие нравы, Менжинский не без остроты сравнивал Ленина с Чичиковым, а его окружение с прочими героями «Мертвых душ»: — «Если Чичикова «ослепило имущество», то их (большевиков) цель — власть, влияние, желание оседлать пролетариат. Им вообще пригодился в практических делах его (Чичикова) метод: подлог.

Прием оказался очень удобен, и им пользовались в течение десятка лет. Благодаря ему Троцкий и Ко могут превратить мертвые души в живой капитал. Сколько бы они ни уверяли, что дают честное слово и им надо верить, мало будет веры в их революционность. Зная наши партийные нравы, где ни одного собрания не проходит без Коробочки, где ни одни выборы не обходятся без Хлестакова, Ноздрева, Держиморды — и это еще не самое худшее, что гложет партию — смешно думать, что эти самые люди могут возрождать интернационал и вести пролетариат к политической диктатуре».

Во второй статье «Ленин» Менжинскому не откажешь в меткости характеристики вождя октября и даже в буквальном даре пророчества.

«Если Ленин бы на деле, а не в одном воображении своем получил власть, он накуралесил бы не хуже Павла I-го на престоле. Начудить сможет это нелегальное дитя русского самодержавия. Ленин считает себя не только естественным приемником русского престола, когда он очистится, но и единственным наследником Интернационала. Чего стоит его план восстановить свой интернационал, свой международный орден и стать его гроссмейстером!

Важным политическим фактом является выступление Ленина в роли самого крайнего из социалистов, революционера из революционеров. Он объявил войну монархам везде и всюду. Их место должны занять — где социалисты, где демократическая республика, а где республика tout court. Картина: — пролетариат, проливающий свою кровь ради олигархии. Нет, Ленин — не Павел, тот был полусумасшедшим путаником, а не политическим шатуном. Ленин — политический иезуит, подгоняющий долгими годами марксизм к своим минутным целям и окончательно запутавшийся.

Запахло революцией, и Ленин торопится обска-

кать всех конкурентов на руководство пролетариатом, надеть самый яркий маскарадный костюм. Ленин призывает к гражданской войне, а сам уже сейчас готовит себе лазейку для отступления и заранее говорит: не выйдет — опять займемся нелегальной работой по маленькой... Его лозунг «гражданская война» — самореклама революционной вертихвостки и больше ничего. Конечно, чем дальше пойдет революция, тем больше ленинцы будут выдвигаться на первый план и покрывать своими завываниями голос пролетариата. Ведь ленинцы даже не фракция, а клан партийных цыган, с зычным голосом и любовью махать кнутом, которые вообразили, что их неотъемлемое право состоять в кучерах у рабочего класса».

Но гораздо интереснее то, что когда через три года Ленин действительно оседлал-таки пролетариат, в клане «ленинских цыган» оказался и этот самый Менжинский, человек со «странностями в спинном мозгу».

В октябрьские дни, как это ни нелепо, «богостроителю» и автору «болезненно-извращенных стихов» Менжинскому совет народных комиссаров предоставил портфель «министра финансов». Известно, что Ленин в отношении своих «цыган» был груб и злопамятен, но в назначении Менжинского, надо отдать справедливость, он проявил широту и полную незлобивость, руководствуясь своей мудрой циничеcкой формулой: — «у нас такое большое хозяйство, что всякий мерзавец нужен».

Никакого активного участия в октябрьском перевороте Менжинский не принимал и по своему характеру принимать не мог. Но, как передают, и у него имеется своя октябрьская заслуга. Когда во дворце Кшесинской шли еще первые бурные заседания-битвы цекистов с Лениным, итти или не итти на переворот, в одной из дворцовых зал Менжинский в это время играл вальсы Шопена. Рассказывают,

что выбежавшие с заседания, сопротивлявшиеся Ленину, Каменев и Зиновьев вошли именно в эту залу, где музицировал Менжинский, и его вальсы так успокоительно подействовали на сопротивлявшихся, что они, отдохнув тут, согласились примкнуть к Ленину.

Говорили же, что Наполеон не выиграл Бородинского сражения только потому, что у него в этот день был сильный насморк, а Варфоломеевская ночь произошла от расстроенного желудка Карла IX? Отчего же и октябрьской революции не произойти от шопеновского вальса Менжинского?

В свою первую министерскую должность Менжинский вступил с помпой. По улицам Петербурга во главе большевицкого полка, с оркестром музыки впереди, он шел под бравурный марш занимать государственный банк. Весь финансовый гений Менжинского состоял в том, что, будучи эмигрантом, он некоторое время служил в частном банке. Для октябрьского министра этого оказалось достаточно, и «знаменитость» началась.

А о том, как этот «министр финансов» подбирал своих сотрудников, имеется прелестный по своей откровенности рассказ коммуниста С. Пестковского, ставшего первым управляющим Государственного Банка. Однажды вскоре после октябрьского переворота этот самый ничем незамечательный коммунист Пестковский зашел в Смольный. «Я открыл дверь в комнату, находящуюся против кабинета Ильича и вошел туда», — пишет Пестковский, — «На диване полулежал с утомленным видом т. Менжинский. Над диваном красовалась надпись «Народный комиссар финансов». Я уселся около Менжинского и вступил с ним в беседу. С самым невинным видом т. Менжинский расспрашивал меня о моем прошлом и полюбопытствовал, чему я учился. Я ответил ему, между прочим, что учился в лондонском университете, где в числе других наук штудировал и финансовую нау-

ку. Менжинский вдруг приподнялся, впился в меня глазами и заявил категорически: «В таком случае мы вас сделаем управляющим государственным банком!» Через некоторое время он вернулся с бумагой, в которой за подписью Ильича удостоверялось, что я и есть управляющий госбанком».

Тут комментарии излишни.

Но во главе финансов российского государства неудачник-писатель, неудачник-адвокат, неудачник-художник, неудачник-ученый, при ближайшем рассмотрении все ж оказался чересчур уж негоден. И данный ему в октябрьской сутолоке портфель «министра» Менжинский вскоре же утерял, ибо первые же шаги «тени человека» обнаруживали ее полную несостоятельность. Тогда, сняв с поста министра, этого «цыгана» совнарком пустил по пути дипломатии.

Замкнутый, нелюдимый, больной брюнет с отсутствующим взглядом, тихим покашливанием, невнятной речью и вкрадчивой полуулыбкой, Менжинский поехал в Берлин на должность генерального консула Р.С.Ф.С.Р.

В столице Германии, помимо консульства Менжинский пробовал заниматься кое-чем другим: шпионажем, разведкой, революционной пропагандой. А кроме того, совместно с Бухариным, Красиным, Лариным, бывший юрист принял участие в переговорах по дополнительным статьям к Брест-Литовскому договору. И когда по окончании этих работ один немецкий профессор на прощанье «дружески» сказал новым дипломатам:

— А все-таки я уверен, господа, что русский народ когда-нибудь да оторвет вам головы!

Из всех присутствующих только будущий начальник ГПУ Менжинский бесстрастно проговорил:

— До сих пор не оторвал и не оторвет.

Но и на посту генерального консула человек «со странностями в спинном мозгу» оставался недолго.

Так же, как потерял он портфель «министра финансов», потерял он и этот «портфель» после того, как немцы вскрыли дипломатический ящик, пришедший на имя Менжинского, и в нем оказалась литература на немецком языке с призывами к революции. Судьба коммунистических дипломатов была решена, немцы выбросили их из Берлина.

И снова, как всю жизнь, ничтожная, но жуткая «тень человека», несмотря на ум, образованность, культурность, в Москве оказалась не у дел.

Но здесь к тихому, переминавшемуся с ноги на ногу, покашливающему, вкрадчивому Менжинскому стал приглядываться вождь ВЧК. Дзержинский умел разбираться в людях, особенно в годных и нужных для его дела террора. И он предложил Менжинскому самую трудную, самую страшную и кровавую работу в своем ведомстве — заведывание Особым Отделом ВЧК. Тихо, с той же вкрадчивой улыбкой, с теми же воспитанными манерами эстет, парадоксалист, полиглот, сибарит Менжинский принял кровавейший пост в ВЧК.

Малознавшие Менжинского сановники удивлялись появлению его на этом посту. Но Дзержинский знал, что делал. На посту начальника Особого Отдела этот человек с вкрадчивой улыбкой оказался не только подходящим, но незаменимым. Диллетант во всем, тут, в инквизиции, оказался как раз на своем месте: больная «тень» воплотилась в беспощадного и страшного человека.

На посту в ЧК Менжинский был и трудоспособен и виртуозен. Его психологическая тонкость, болезненная интуиция, схематичность мышления нашли блестящее применение.

К тому же бесовская жажда выйти из состояния ничтожества получила неслыханное удовлетворение. Поэта ненапечатанных стихов, оратора непроизнесенных речей и художника ненаписанных полотен,

Менжинского теперь узнала вся Россия. Больше того, узнал целый мир!

Автор определения трудящихся, как «социалистической скотинки» стал вождем «рабоче-крестьянкого» террора. Так же, как Дзержинский, ночи-напролет, безвыходно он работал на Лубянке, отправляя людей на тот свет. И на своем посту был сух, холоден, бесчувственен и бесчеловечен.

Лежавший большую часть дня на диване, ибо врачи запрещали ему много двигаться, Менжинский никого лично не расстреливал. Этим в подвалах занимался «человеческий зверинец». Но думаю, что в тиши лубянского кабинета лежавшему на диване под гуды заведенных моторов автору декадентских романов эти расстрелы по росчерку пера могли столь же хорошо, как Эйдуку, «полировать кровь». Ведь это все та же напрягающая нервы игра «болезненно-извращенных стихов», только в гораздо более сильной дозе и не в бреду, а наяву.

Как и Дзержинский, Менжинский сам допрашивал арестованных, сам рылся в следственных материалах, сам производил очные ставки и сам нередко инсценировал «процессы контр-революционеров». Известна его ледяная холодность, когда только для того, чтобы крепче держаться в своем вельможном кресле, этот человек расстреливал заведомо невинных и не шевелил пальцем для спасения бывших товарищей, попавших в лапы ЧК. Для Менжинского это была бы — недостойная сентиментальность.

Человек с пронзительным взглядом и вкрадчивой улыбкой на допросах бывал очень тонок, находчив, остроумен и «очарователен в манерах». Бывшая на приеме в кабинете Менжинского П. Мельгунова-Степанова рассказывает, как она этого приема ждала, как, наконец, дверь с матовым стеклом распахнулась и на пороге остановился брюнет в пенсне, вопросительно глянув на посетительницу.

— Вы ко мне? Пожалуйста.

Пропустив в кабинет, выходивший зеркальными окнами на Лубянскую площадь, обставленный прекрасной кожаной мебелью, с огромным раскинувшимся на полу белым медведем, Менжинский подошел к стоявшему стакану чая.

— Вы позволите? — и взял стакан, отпивая. О, Менжинский светски воспитан. А затем этот усталый человек с потемневшим больным лицом, воспаленными глазами и пристальным сверлящим взглядом без тени человечности, начал допрос, провоцируя на реплики, путая софизмами, сбивая остроумием и парадоксами.

Тот же автор рассказывает, что жене одного видного арестованного Менжинский на допросе с документами в руках доказал... неверность ея мужа и, «издергав ее», добился нужных показаний. А когда женщина разрыдалась, Менжинский, провожая ее из кабинета, вежливо говорил:

— Вы плачете? Странно. В эту дверь вышло не мало женщин на расстрел, и я не видел слез, они не плакали.

Этот монолог человека со «странностями в спинном мозгу» поистине достоин нравов средневековья. Чем же жил среди крови этот ничтожный больной человек, прожженный всеми скепсисами и цинизмами? Что держало его среди этого моря крови, понадобившегося для эксперимента «революционной вертихвостки»? Впрочем, эстет Менжинский воспринимал жизнь не этически, а... эстетически. А эстетическая оценка, как известно, дозволяет все.

И выйдя из ничтожества, прогремев на всю страну, с той же вкрадчивостью в манерах, жестах и улыбках «Вяча — божья коровка», вельможа Менжинский, прекрасно знавший историю закулисной борьбы всех времен и всех правительств, тонко шел путем дворцовых интриг, лавируя по коридорам мос-

ковского Кремля, ставя то на ту, то на другую партию борящихся за власть.

Он еще издавна ненавидел Ленина, но при нем держался за Дзержинского, прячась за его спину. Когда он видел, что Ленину уже не жить, искал милостей у Троцкого. Но нашел их у Сталина. И здесь, поддержанный Сталиным, уже стареющий, больной манией преследования, полупарализованный Менжинский достиг, наконец, вершин придворной карьеры.

Закутанный в пледы, не покидающий дивана полупаралитик, он, член правительства С.С.С.Р., глава тайной коммунистической полиции, теперь мог доживать свой век в фрейлинском корпусе Кремля, совершенно спокойно. Сталин ему покровительствует, ибо хорошо знает своего инквизитора: — никакая оппозиционность, никакая борьба не интересовала этого ленинского «цыгана».

С своего дивана Менжинский послушно руководил аппаратом ГПУ и концентрационными лагерями, куда согнало ГПУ до пяти миллионов человек. Это — обычная чиновничья служба вельможи, к тому ж прекрасно ведомая его чекистским Санчо-Панчо, членом коллегии ГПУ, бывшим фармацевтом Ягодой.

Главный интерес больного Менжинского — в досугах. Как истый пресыщенный вельможа тирании Менжинский интересовался «высоким и прекрасным». Оказывается, его интересовали «некоторые проблемы» высшей математики и волновало «изучение персидской лирики». И в то время, когда в подвалах его ведомства шли пытки, казни, а в концентрационных лагерях заключенных в наказание выставляли голыми на мороз, обливая водой, — в это время глава тайной коммунистической полиции, уже дряхлеющий шестидесятилетний Менжинский, чтоб в подлиннике читать Омара Хейяма, начал изучение персидского языка.

Но все ж при «разносторонности интересов»

Менжинский так и остался до конца жизни ничтожеством, диллетантом и графоманом, читавшим свои «литературные опыты» только гостям фрейлинского корпуса.

Из всех чекистских фигур этот «неудачный поэт» является едва-ли не одной из отвратительнейших. Смерть настигла его на диване, к которому много лет он был прикован унаследованной от дегенеративного рода болезнью. Но в казенной печати о причинах смерти главы ГПУ точно ничего не говорилось. Не было б удивительно, если б издавна больная манией преследования «тень человека» кончила жизнь наложением на себя рук. И объективных и субъективных причин для этого было больше, чем достаточно.

ОГЛАВЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ

(Здесь указаны только главные печатные материалы; кроме печатного материала автор пользовался рукописями, а также устными свидетельствами лиц, близко знавших главных деятелей террора).

М. А. АЛДАНОВ. Убийство Урицкого. Журн. «Современные Записки», т. 12. Париж.

Т. АЛЕКСИНСКАЯ. Палачи. газ. «Родная Земля». 1927.

Г. АРОНСОН. На заре красного террора. Берлин. 1929.

Г. БЕСЕДОВСКИЙ. На путях к термидору. Париж.

ВЛ БОНЧ-БРУЕВИЧ. На боевых постах. Изд. «Федерация». Москва. 1930.

ВЛ. БОНЧ-БРУЕВИЧ. Три покушения на Ленина. Изд. «Федерация». Москва. 1930.

П. П. БРЮХАНОВ. Воспоминания о ссылке в Вятской губернии 1897 - 1900 г. г. Журн. «Каторга и ссылка» № 6. Москва. 1929.

Т. ВАРШЕР. Виденное и пережитое в советской России. Изд. «Труд». Берлин. 1923.

«ДЗЕРЖИНСКИЙ». Сборникъ статей. Соцэкгиз. Москва. 1931.

ДЗЕРЖИНСКИЙ по архивным материалам. Журн. «Красный Архив». Т. . Москва. 1926.

Ф. ДРУГОВ. Воспоминания. Париж. 1931.

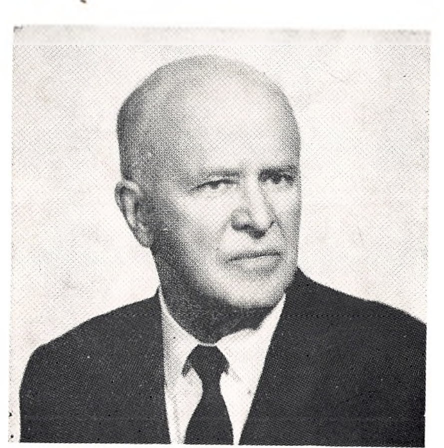
Е. ДУМБАДЗЕ. На службе Чека и Коминтерна. С вст. статьей В. Бурцева. Изд. «Мишень». Париж. 1930.

«КРАСНАЯ КНИГА ВЧК». Госиздат. Москва. 1920.

М. ЛАЦИС. Возникновение Народного комиссариата внутренних дел. Журн. «Пролетарская революция» № 2. Москва. 1925.

М. ЛАЦИС. Товарищ Дзержинский и ВЧК. Журн. «Пролетарская революция» № 9. Москва-Ленинград. 1926.

Р. ЛОККАРТ. Буря над Россией. Рига. 1933.
С. П. МЕЛЬГУНОВ. Красный террор в России. Изд. 2-е. Берлин. 1924.
С. П. МЕЛЬГУНОВ. Чекистский Олимп. Журн. «Борьба за Россию» под ред. М. М. Федорова №№ 214, 212. Париж. 1931.
П. Е. МЕЛЬГУНОВА-СТЕПАНОВА. Где не слышно смеха. Париж. 1928.
НЕКРОЛОГИ. А. Мясников, Г. Атарбеков, С. Могилевский. Журн. «Пролетарская революция». № 6. Москва. 1929.
ПЕРАЗИЧ. «Из воспоминаний«. Журн. «Красная летопись». Москва.
Я. ПЕТЕРС. Воспоминания о работе в ВЧК в первый год революции. Журн. «Пролетарская революция». № 10. Москва. 1924.
Я. ПЕТЕРС. Большая Лубянка № 2. Газ. «Комсомольская Правда». 1927.
«ПУТИ РЕВОЛЮЦИИ». Статьи, материалы, воспоминания. Берлин. 1923.
Н. СЕМАШКО. На смерть Дзержинского. Журн. «Каторга и ссылка». № 6. Москва. 1926.
И. СОКОЛОВ. Из воспоминаний. Газ. «За свободу». Варшава. 1922.
Г. А. СОЛОМОН. Среди красных вождей. Т. т. I и II. Изд. Мишень». Париж. 1930.
В. СПЕРАНСКИЙ. Феликс Дзержинский. Страницы воспоминаний. Журн. Борьба». № 17-18. Париж. 1931.
Л. ТРОЦКИЙ. Моя жизнь. Опыт автобиографии. Т. II. Изд. «Гранит». Бер ин. 1930.
И. УПОВАЛОВ. Воспоминания рабочего социал-демократа. Как мы потеряли свободу. Журн. «Заря» Берлин. 1922.
«ЧЕКА». Материалы по деятельности чрезвыч. комиссий. Изд. Цен. бюро партии социалистов революционеров. Берлин. 1922.
О. Е. ЧЕРНОВА - КОЛБАСИНА. Воспоминания о советских тюрьмах. Изд. Парижской группы содействия партии с. р. Париж. 1931.



Роман Гуль в 1970 г.